

06
С-

ISSN 0132 - 1366

АКАДЕМИЯ НАУК
СССР

Советское
СЛАВЯНОВЕДЕНИЕ

6
1990



• НАУКА •

Советское СЛАВЯНОВЕДЕНИЕ

ВЫХОДИТ 6 РАЗ В ГОД
НОЯБРЬ — ДЕКАБРЬ

СОДЕРЖАНИЕ

6

1990

<i>Волков В. К.</i> Советско-югославские отношения в начальном периоде второй мировой войны в контексте мировых событий (1939—1941 гг.)	3
<i>Косик В. И.</i> Русская дипломатия и генералы в Болгарском княжестве. 1881—1883 годы	18
<i>Фертач Сильвестр.</i> (ПР). Движение славянской солидарности и польская эмиграция в Великобритании во время второй мировой войны	29
<i>Бастлова З.</i> (ЧСФР). К проблематике межславянских литературных связей рубежа веков	37
<i>Сурта Х. Ф.</i> О «балто-славянской» новелле П. Мериме «Lokis»	45

ПОРТРЕТЫ

<i>Топоров В. Н.</i> Николай Сергеевич Трубецкой — ученый, мыслитель, человек (к столетию со дня рождения)	51
--	----

ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

<i>Станюкович Я. В.</i> Памяти Марии Домбровской	85
<i>Великодная И.</i> Польское четверостишие П. А. Вяземского	87

СООБЩЕНИЯ

<i>Николаева Т. М.</i> Славистика современных Нидерландов	90
<i>Фрейденберг М. М.</i> Мюнхенский центр балканистических исследований	101

ОБЗОРЫ И РЕЦЕНЗИИ

<i>Греков И. Б.</i> Е. В. Чистякова. Михаил Николаевич Тихомиров (1893—1965)	105
--	-----

ЖУРНАЛ
ОСНОВАН
В ЯНВАРЕ
1965 г.

МОСКВА
«НАУКА»

<i>Бушужева Т. С. М. Bulajić. Ustaški zločini genocida i suđenje Andriji Artukoviću 1986 godine. Т. I—II</i>	107
<i>Степанова Е. Поетика српске књижевности</i>	108
<i>Стижко Л. В., Хайров Ш. В. Е. Lotko. Čeština a polština v překladatelské a tlumočnické praxi</i>	110
<i>Смирнов Л. Н. Krátky slovník slovenského jazyka</i>	113

ЗАМЕТКИ О КНИГАХ

<i>Ишутин В. В. Юрій Іванович Венелін-Гуца (1802—1839): Бібліографічний показчик</i>	116
<i>Осипова М. А. G. Neweklowsky. Der kroatische Dialekt von Stinatz. Wörterbuch</i>	117

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

<i>Макарычев А. С. Международная конференция историков в Быдгоще</i>	119
<i>Зиможря Н. И. За комплексное изучение наследия Юрия Венелина</i>	120
<i>Мельников Г. П. Конференция из цикла «Славяне и их соседи»</i>	121
Указатель статей и материалов, опубликованных в журнале в 1990 году.	124

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

И. И. ПОП (главный редактор), В. К. ВОЛКОВ, Р. П. ГРИШИНА,
 А. А. ГУГНИН, В. А. ДЬЯКОВ, А. А. ЗАЛИЗНЯК, М. С. КАШУБА,
 В. П. КОЗЛОВ, М. Н. КУЗЬМИН, Г. Г. ЛИТАВРИН (зам. главного редактора),
 Г. Ф. МАТВЕЕВ, С. В. НИКОЛЬСКИЙ, Ю. С. НОВОПАШИН, А. Ф. НОСКОВА,
 Л. Н. СМОРНОВ (зам. главного редактора), Л. А. СОФРОНОВА, В. П. ФЛОРЯ

Зав. редакцией *Е. В. Пономарёва*



ВОЛКОВ В. К.

СОВЕТСКО-ЮГОСЛАВСКИЕ ОТНОШЕНИЯ В НАЧАЛЬНЫЙ ПЕРИОД ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ В КОНТЕКСТЕ МИРОВЫХ СОБЫТИЙ (1939—1941 гг.)

Балканы в годы второй мировой войны были как важным театром военных действий и объектом политической борьбы между фашистским блоком и антигитлеровской коалицией, так и причиной политических расхождений внутри каждого из союзов. Но никогда положение не было столь запутанным, как в начальный период войны, когда в течение полутора лет — с сентября 1939 г. до весны 1941 г. — борьба великих держав причудливо переплеталась с противоречивыми тенденциями в политике самих балканских государств. В этот период советско-югославские отношения оказались вплетенными в общий поток событий, причем в позиции каждой из сторон по-своему отражались глобальные процессы.

К настоящему времени создано немало работ, рассматривающих советско-югославские отношения того времени или затрагивающих их отдельные аспекты. Среди них — труды югославских историков В. Винавера, Ж. Аврамовского, Ф. Чулиновича, В. Терзича, Д. Лукача и др. [1—4]; отдельные вопросы освещались в советской исторической литературе [5—8]; уделили им внимание английские и американские исследователи [9; 10], чехословацкие, польские и болгарские историки [11]. Вместе с тем отсутствие специальной монографической разработки проблематики советско-югославских отношений в 1939—1941 гг. ощущается в настоящее время как существенный пробел, который желательно заполнить. Рамки статьи дают возможность затронуть лишь узловые вопросы этой важной темы и высказать отдельные суждения в связи с проблемами, поднимаемыми в последнее время в советской исторической литературе и публицистике и касающимися истории начального периода второй мировой войны.

Начало войны застало отношения двух стран в неурегулированном состоянии: Югославия оставалась последней страной в Европе, все еще не признававшей СССР. Однако это не означало полного отсутствия контактов. Дипломаты обоих государств довольно регулярно встречались в столицах других стран, особенно в Лондоне и Анкаре, и обменивались информацией о политике своих правительств. Обострение обстановки в Европе во время предвоенного политического кризиса заставляло обе стороны пристально следить за развитием событий. Особенно внимательно наблюдала югославская дипломатия за ходом советско-англо-французских переговоров летом 1939 г. и делала собственные выводы, в частности, пришла к заключению, что западные державы не стремились к достижению соглашения с СССР [12].

В последнее время в советской исторической литературе и публицисти-

Волков Владимир Константинович — д-р ист. наук, профессор, директор Института славяноведения и балканистики АН СССР.

ке ведется оживленная полемика, связанная с историей заключения советско-германского пакта о ненападении от 23 августа 1939 г. Рассматриваются дилеммы, встававшие тогда перед советской внешней политикой, и альтернативные пути их решения; поднимаются проблемы моральных, идеологических и политических издержек, связанных для СССР с заключением пакта, а также крупных просчетов и ошибок, допущенных в конкретных действиях после его заключения¹. Не вдаваясь в существо этих проблем, каждая из которых заслуживает специального изучения, поставим вопрос: какое воздействие оказало заключение пакта на международное положение Югославии и обстановку на Балканах?

Анализ разнообразных и подчас весьма противоречивых фактов в целом свидетельствует о том, что сразу после заключения пакта последовало уменьшение напряженности на Балканах и, в частности, снижение угрозы Югославии со стороны фашистской Италии [14]. В начале сентября советская дипломатия (конкретно — полпред в Лондоне И. М. Майский) довела до сведения Югославии через посланника И. Субботича, что пакт не содержит никаких секретных дополнений, касающихся Балкан. Такой вопрос вставал в связи со слухами, получившими отражение в прессе западных держав. Как сообщал Субботич в Белград, Майский в беседе с ним 4 сентября 1939 г. «в своего рода полуторжественной форме» сказал: «Можете быть спокойными и можете свободно сказать Вашему правительству, что ничего подобного не существует. Мы никаких сфер влияния на Балканах не устанавливали и не затевали с немцами раздела Балкан»². Ставшее ныне известным содержание секретного дополнительного протокола к советско-германскому пакту позволяет сделать вывод, что Майский не погрешил против истины. Заявление советского посла имело важное значение для внешнеполитической ориентации Югославии в самом начале войны.

Как известно, правящие круги Югославии не были едины во внешнеполитических установках. Заключение 26 августа 1939 г. «споразума» и образование правительства Д. Цветковича — В. Мачека требовало учета взглядов Хорватской крестьянской партии, которые не всегда совпадали с мнениями других политических течений (в первую очередь сербских) и военных кругов. Борьба различных ориентаций и определила внешнеполитический курс страны. Большинство буржуазных политических сил тяготело в начале войны к западным державам и в международном плане связывало будущее Югославии с опорой на них. Приверженцы стран «оси» были представлены в основном фашистскими течениями и относительно малочисленны. Но в Югославии имелись и сторонники ориентации на СССР, и не только коммунисты. Подобные настроения были широко распространены в народных массах; в той или иной мере их разделяли многие буржуазные политики, выступавшие за восстановление отношений с СССР и опору на него против возможной угрозы независимости страны со стороны фашистских держав.

Давно назревший вопрос об установлении дипломатических отношений Югославии с СССР встал во весь рост с началом войны. Неизбежность его решения осознавали и правящие круги — министр иностранных дел А. Цинцар-Маркович, премьер-министр Д. Цветкович, принц-регент Павел. Превозмогая свои антисоветские настроения, Павел обратился к последнему в мире царскому посланнику Штрандтману с предложением «свернуть» свое «посольство» в Белграде. В результате в конце сентября 1939 г. с дверей бывшего русского посольства исчез герб с изображением двуглавого орла [16]. Однако восстановление дипломатических отношений задержали события, связанные с советско-финской войной.

¹ Помимо многочисленных публикаций в научной и периодической печати следует упомянуть в этой связи работу Комиссии по политической и правовой оценке советско-германского договора о ненападении от 1939 г., созданной решением I Съезда народных депутатов СССР в июне 1989 г. Доклад председателя комиссии А. Н. Яковлева на II Съезде народных депутатов СССР см. [13].

² Субботич (Лондон) — в МИД 11 сентября 1939 г. о беседе с советским послом И. М. Майским 4 сентября 1939 г. [15, 1939, Пов. бр. 1372].

Осень 1939 г. и зима 1939—1940 гг. были временем лихорадочной активности на Балканах западных держав и Италии, да и самих балканских государств. Эта деятельность концентрировалась вокруг проектов создания так называемого «балканского нейтрального блока», который в значительной мере носил антисоветский характер. В период «странной войны» усилили западных держав, в первую очередь Франции, оказались направлены не на борьбу против гитлеровской Германии, а на так называемую «периферийную стратегию», в которой антисоветские замыслы порою брали верх. Югославия старалась держаться в стороне от антисоветских действий, например, воздержалась от участия в дипломатической эскападе, связанной с исключением СССР из Лиги Наций в декабре 1939 г. Ее сдержанность объяснялась, по-видимому, осознанием того, что оборотной стороной подобных акций со стороны западных держав была фаворизация Италии, которую они стремились оторвать от Германии путем предоставления ей преимуществ на Балканах. В случае удачи замысла заплатить за его осуществление в основном пришлось бы Югославии. Как и в ряде других случаев, в начальный период конфликта западные державы руководствовались опытом первой мировой войны, когда в результате Лондонского договора (1915) удалось оторвать Италию от блока Центральных держав и добиться ее перехода на сторону Антанты. Однако прошлое не повторилось. Весной 1940 г. стало ясно, что «странной войне» пришел конец. Захват Германией Дании и Норвегии (9 апреля 1940 г.), оккупация Бельгии, Нидерландов и Люксембурга (май 1940 г.) и, наконец, крушение Франции — такова была цена стратегических просчетов западных политиков.

Весна 1940 г. стала одним из поворотных пунктов второй мировой войны. Она затронула интересы всех европейских (и не только европейских) государств. Почувствовали последствия этого поворота и Советский Союз, и Югославия, остававшиеся нейтральными. Именно на этот период пришлось восстановление их отношений.

Сами переговоры заняли сравнительно короткое время. Начались они с контактов о заключении торгового договора. Характерно, что такой шаг Югославия сделала вслед за британской дипломатией, первой почувствовавшей надвигавшиеся перемены. 18 марта 1940 г. Великобритания предложила Советскому Союзу начать торговые переговоры; затем с аналогичной инициативой выступила и Югославия³. Советско-югославский торговый договор был заключен в Москве 11 мая [17, 12 V].

Налаживание экономических связей двух стран само по себе было важным событием (особенно в условиях войны и проводившейся Англией экономической блокады Германии), так как балканские страны остро нуждались в нефтепродуктах (румынское производство почти целиком поглощалось Германией) хлопке, и машинах и т. д. Заключение торгового договора приветствовалось всеми политическими течениями в Югославии. Это ярко проявилось во время визита советского полпреда в Болгарии А. И. Лаврентьева, принимавшего участие в экономических переговорах, в Белград 31 мая — 1 июня 1940 г. для обмена ратификационными грамотами.

А. И. Лаврентьев был первым за долгие годы официальным советским представителем, который посетил Югославию. В Белграде ему оказали подчеркнутое гостеприимство. Последовала серия приемов, на которых происходил обмен мнениями по общим вопросам. В беседе с А. Цинцар-Марковичем советский дипломат особо отметил, что СССР сохраняет позицию нейтралитета и поддерживает политику мира не только на Балканах, но и в других частях света. Д. Цветкович в свою очередь подчеркнул, что за последнее время для него было два важных события — регулирование хорватско-сербских отношений и заключение торгового договора с Советским Союзом. Подобная параллель была призвана подчеркнуть значение, которое югославская сторона придавала этому акту. Цветкович выразил

³ События, связанные с подписанием советско-югославского торгового договора, а затем восстановлением дипломатических отношений, подробно освещены в исторической литературе (см. [1; 2; 3; 7; 8]).

также надежду на установление прочной дружбы между двумя странами и вскользь затронул вопрос о возможности приобретения вооружения в Советском Союзе (см. Отчет А. И. Лаврентьева о визите в Белград 31 мая — 1 июня 1940 г. [18, ф. 074, д. 140, п. 108, л. 170—180]).

Весьма дружественными были встречи Лаврентьева с В. Мачеком и министром торговли и промышленности И. Андресом, так что у советского дипломата, мало знакомого с ситуацией в Югославии, сложилось даже впечатление, что в правительственных кругах хорваты более активно выступают за развитие отношений с СССР. И, наконец, его принял, что не было предусмотрено программой пребывания в Белграде, принц-регент Павел. На хорошем русском языке Павел выразил удовлетворение тем, что начинают устанавливаться отношения между Югославией и Россией. Он высказал надежду, что заключение торгового договора явится лишь первым шагом в этом направлении. Однако каких-либо переговоров о восстановлении дипломатических отношений во время этого визита не велось [18, ф. 074, д. 140, п. 108, л. 170—180].

Переговоры о формальном установлении дипломатических отношений начались в последних числах мая. Они велись между советским полпредом в Анкаре А. В. Терентьевым и югославским посланником И. Шуменковичем и закончились 24 июня 1940 г. подписанием соответствующего соглашения. Оно включало предоставление Югославией агремента советскому полпреду В. А. Плотникову и Советским Союзом — югославскому посланнику М. Гавриловичу [17, 26 VI], что в тогдашних условиях имело исключительное значение.

Интересно отметить недоброжелательное отношение к этому факту со стороны германской дипломатии. Немецкий посланник в Белграде фон Герен прямо заявил М. Гавриловичу, что Берлин недоволен его назначением в Москву, так как германская сторона, зная его профранцузские симпатии, убеждена в том, что он будет стараться испортить германо-советские отношения. Как немцы, так и итальянцы полагали, что главной целью миссии Гавриловича в Москве было заключение советско-югославского военного союза [9, р. 177—178].

Восстановление дипломатических отношений между двумя странами привело к многочисленным контактам их официальных представителей как в Москве и Белграде, так и в других государствах. Эти контакты, зафиксированные в архивных материалах, показали значительное совпадение интересов двух государств, несмотря на большие различия в их положении. Обе страны испытывали беспокойство в связи с резким изменением положения в Европе после разгрома Франции, опасались последствий «нового порядка» в Европе, к созданию которого приступила Германия с привлечением Италии.

Основные события того времени хорошо изучены в исторической литературе, что не означает, конечно, отсутствия невыясненных проблем. Одним из «белых пятен» остается вопрос о советской оценке ситуации в мире вообще и о советских планах на Балканах в частности. Это тем более важно, что без ответов на поставленные вопросы нельзя до конца понять значение советско-югославских отношений во второй половине 1940 — начале 1941 гг., когда развитие событий вступило в решающую фазу. Анализ многих действий советской дипломатии в тот период затруднен как вследствие малой пока доступности советских архивных материалов, так и из-за ряда заявлений руководителей советской дипломатии, рассчитанных тогда на определенный сиюминутный эффект, но звучащих ныне как оскорбление здравого смысла. В них отражались подчас как просчеты, допускавшиеся советским руководством в оценке ситуации, так и недостаточный профессионализм, даже дилетантизм таких лиц, как Молотов, Деканозов и Вышинский, оказавшихся во главе советской дипломатии.

В качестве примера можно привести высказывание Молотова в докладе на заседании Верховного Совета СССР 1 августа 1940 г. о характере советско-германских отношений. Сделав правильный вывод, что конца войны еще не видно, что следует ожидать новый этап ее усиления, когда Германии и Италии будет противостоять Англия, которой помогают США, он

остановился на рассуждениях («спекуляциях») западной прессы о возможной перспективе разногласий между Советским Союзом и Германией, на попытках запугать СССР усилением могущества Германии [19]. Было бы наивно полагать, что Молотов отвечал каким-то безымянным журналистам. Тезис о том, что установление германской гегемонии на Европейском континенте представляет угрозу и для СССР и поэтому как Советскому Союзу, так и Англии надо проводить совместную линию для защиты собственных интересов и восстановления европейского равновесия, был сформулирован британским послом С. Криппсом в беседе со Сталиным 1 июля 1940 г. Последующие события показали, что такие рассуждения не были надуманы. Но советское руководство в тот период расценило их как стремление британской дипломатии подорвать советско-германский пакт, столкнуть СССР с Германией и переложить на СССР всю тяжесть борьбы с ней. Опасаясь возможных английских интриг, советское руководство довело британские тезисы до сведения Германии. За советскими действиями и оценками стояла убежденность, что Германия не посмеет нарушить пакт о ненападении до победы над Англией. Поэтому в своей речи Молотов фактически отвечал британскому правительству и занимал по этому вопросу официальную позицию, о которой была информирована и германская дипломатия. Он говорил тогда: «Мы можем лишь подтвердить, что, по нашему мнению, в основе сложившихся добрососедских и дружественных советско-германских отношений лежат не случайные соображения конъюнктурного характера, а коренные государственные интересы как СССР, так и Германии»⁴ [19]. Тем самым Молотов делал обязывающие советскую сторону заявления и как бы обелял политику Германии.

Спустя три недели после выступления Молотова подобную же формулу употребило югославское правительство. На заседании в Загребе 26 августа 1940 г. в связи с годовщиной заключения сербо-хорватского соглашения («споразум») было принято заявление, в котором отмечалось, что для Югославии «дружба с Германией и Италией носит не конъюнктурный характер, а основывается на наших коренных интересах» [20]. Использование данной формулы наводит на мысль, что югославская дипломатия хотела либо сознательно продублировать советскую формулировку для того, чтобы отвести от себя возможные нарекания с германской стороны, либо подчеркнуть, что в дальнейшем при определении отношений с Германией и Италией она будет учитывать позицию СССР и как-то опираться на него. Но каковы бы ни были расчеты, они не принесли ей выгод в отношениях с Германией, которая ожидала не слов, а «добровольного вползания» Югославии в нацистский «новый порядок». Именно так и расценил югославское заявление германский посланник фон Герен. По его мнению, оно являлось разочаровывающим, ибо за ним не следовали конкретные дела, такие, например, как отставка министров, которые известны как масоны [21].

Парадоксально, что и советская дипломатия крайне отрицательно оценила применение указанной формулы югославским правительством. По мнению советских представителей в Белграде, такая формулировка была крупной уступкой немецкой агентуре в ее усилиях добиться капитуляции Югославии перед Германией по образцу Румынии и Дании [18, ф. 0144, оп. 23, д. 16, п. 107, л. 5—18]. Позднее советские наблюдатели скорректировали свое мнение, посчитав, что формула на деле оказалась лишь политической уступкой, сделанной югославским правительством в самые тяжелые времена борьбы Великобритании против Германии.

Переключка формулировок не принесла каких-либо выгод ни одной из сторон. Более того, она могла лишь усилить подозрения германской дипломатии. Дело в том, что нацистской разведке удалось проникнуть в югославский МИД и организовать массовую утечку секретной информации. В частности, в руки гитлеровцев уже в июле 1940 г. попали записи бесед М. Гавриловича в Москве с рядом советских руководителей (Молотов, Калинин и др.), в ходе которых те говорили о необходимости соблюдать

⁴ Впервые близкое по формулировке заявление прозвучало в сообщении ТАСС от 23 июня 1940 г. «О советско-германских отношениях» [17, 23 VI].

бдительность в отношении германских намерений и т. п. Такие сведения отражали реальные настроения в Москве и, естественно, плохо увязывались с официальным дружелюбием.

Советские дипломаты, в частности сотрудники постпредства в Белграде, полностью отдавали себе отчет в том, что установление советско-югославских дипломатических отношений как отношений двух нейтральных стран рассматривается каждой воюющей стороной с точки зрения собственных интересов. Для них не составляло секрета английское протезирование этого шага, который британская дипломатия была склонна рассматривать даже как своеобразную форму своей борьбы против Германии на Балканах. При этом англичане исходили из оценки СССР как потенциального противника Германии в Европе в целом, а на Балканах в особенности, и воспринимали восстановление отношений двух стран как укрепление позиций Югославии перед лицом фашистских держав, а также как средство глуже втянуть СССР в балканские дела.

Конечно, не английские расчеты, а реальное развитие событий вело к фактическому противостоянию советских и германских интересов. В условиях, когда гитлеровцы приступили к созданию «нового порядка» в Европе, советский тезис о предотвращении расширения сферы войны, против вовлечения в нее балканских стран стал приобретать новое содержание. Если в период «странной войны» он был направлен против различных комбинаций, связанных с организацией «балканского нейтрального блока», то теперь оказался повернутым против германских планов установления гегемонии на Балканах.

По оценке советского постпредства в Белграде, с лета и осени 1940 г. Германия перенесла свое внимание на Балканы, которые оказались в центре ее военных и дипломатических планов. Советские наблюдатели считали, что Германия поставила перед собой цель установить господство в этом регионе путем комбинированного военного и дипломатического нажима, обеспечить свои стратегические позиции на Черном и Эгейском морях и стать хозяином черноморских проливов. Тем самым, полагали они, Германия желает получить плацдарм как против Великобритании (на Средиземном море и Ближнем Востоке), так и против Советского Союза. При этом отмечалось, что Германия стремилась в отношениях с балканскими странами использовать моральный эффект своих успехов на Западе, а сопротивление Советского Союза парализовать неожиданностью своих действий [18, ф. 0144, оп. 23, д. 16, п. 107, л. 5—18].

Эти планы, считало советское постпредство в Белграде, гитлеровцы намечали осуществить в несколько этапов. Однако решающим было создание сильного «военного барьера» («заслона»), отгораживающего Советский Союз от Балкан. Такой «барьер» возникал в результате переброски германских «инструкторских» частей в Румынию и захвата контроля над Дунаем. В итоге балканские государства оказывались в изоляции, а их внутренняя сопротивляемость германскому давлению ослаблялась. Наибольшего нажима, по советской оценке второй половины 1940 г., следовало ожидать на Болгарию и Югославию, внутри которых немцы проводили активную подрывную работу [18, ф. 0144, оп. 23, д. 16, п. 107, л. 5—18].

Приведенные оценки стратегических замыслов и тактических приемов Германии, как явствует из последующих действий советской дипломатии, определили ее дальнейшие шаги. Рассматривая Балканы как зону, связанную с безопасностью СССР, в которой ни в коем случае нельзя допускать монопольного влияния Германии, советская дипломатия была исполнена решимости пункт за пунктом парировать все германские замыслы: по возможности устранить германский «военный заслон» и воспрепятствовать установлению безраздельного германского контроля над Дунаем; предотвратить внешнеполитическую изоляцию Болгарии и Югославии и повысить их внутреннюю сопротивляемость нацистскому нажиму; ни в коем случае не дать Германии шансов стать хозяйкой черноморских проливов и подчинить Турцию. Все эти цели покрывались тезисом о сужении сферы войны и недопущении втягивания в нее балканских стран. Они оп-

ределили усилия советской дипломатии с сентября 1940 г. по апрель 1941 г., в их рамках строилась и советская политика по отношению к Югославии.

Рассматривая советские дипломатические действия в тот период, нельзя не обратить внимания как на их реалистические стороны, так и на крупные просчеты стратегического характера, предопределившие в конечном итоге их общую неудачу. Первый и главный просчет заключался в ошибочном прогнозе дальнейшего развития событий и хода войны. Наблюдая за все возрастающей помощью США Великобритании, советское руководство приходило к заключению, что до конца войны еще далеко⁵. Однако отсюда делался ничем не обоснованный вывод, что Германия не решится на военные действия против СССР, по крайней мере в обозримый период. Это была грубая ошибка, допущенная лично Сталиным и его ближайшим окружением, т. е. той руководящей группой, которая принимала окончательные политические решения. Как известно, Гитлер уже с июля 1940 г. начал планировать войну против СССР, а 18 декабря 1940 г. был окончательно принят план «Барбаросса», наметивший и дату нападения — середина мая 1941 г. Отсюда проистекали решающие следствия: германские действия на Балканах определялись концепцией близкого военного столкновения с СССР и игнорировали его политическую реакцию, тогда как советская сторона принимала за исходный пункт заинтересованность Германии в сохранении пакта о ненападении и рассчитывала остановить германскую экспансию на Балканах политическими средствами.

Желание СССР сохранить нейтралитет и удержать Балканы вне сферы войны порождало и соответствующий подход к вопросу о возможных союзниках. Усилия западных держав остановить гитлеровскую экспансию на Балканах рассматривались только сквозь призму предвзятых и односторонних представлений о стремлении Англии столкнуться с Германией и Советский Союз, переложить на плечи последнего все тяготы ведения войны. И хотя элементы правды в такой точке зрения присутствовали, общая посылка оказалась ложной: предотвратить гитлеровскую агрессию против СССР было уже нельзя.

Расчеты Сталина строились на простой арифметической логике, тогда как для переломных моментов истории требуется по меньшей мере алгебраическое мышление. Однако последним он не владел, хотя часто и употреблял слово «диалектика». В результате оказалась упущенной возможность налаживания хотя бы ограниченного сотрудничества с будущими участниками антигитлеровской коалиции. За такой слепотой стояли не просто личные недостатки Сталина как руководителя, а пороки сложившейся в СССР авторитарно-бюрократической системы с ее лагерно-полицейской цивилизацией и террористическими методами правления, вознесшей Сталина на вершину административной пирамиды. Между тем только взаимодействие с западными державами могло в тех условиях принести определенные плоды. Разрозненные же усилия оказались только на руку фашистским державам.

Но даже и при этих изъянах советские действия на Балканах сыграли крупную роль. Они продемонстрировали как балканским народам, так и всему миру решимость СССР противостоять фашистскому «новому порядку» в Европе. В тогдашней «войне слухов» и пропагандистской войне это имело огромное значение, в частности, снимало отдельные негативные последствия советско-германского пакта о ненападении, очерчивало рамки его действительного приложения.

Указанные выше исходные позиции определили политику СССР и в области советско-югославских отношений. Советский Союз внимательно следил как за внешнеполитическим курсом Югославии, так и за ее внутренним развитием, оказывая моральную поддержку тем политическим силам, которые выступали за сохранение независимости государства, про-

⁵ Отражая эти мнения, советский посол И. М. Майский говорил в начале декабря 1940 г. югославскому посланнику в Великобритании И. Субботичу, что и грядущий 1941 г. не принесет окончания войны, которая продолжится как война на истощение [15, 1940, F — 1 — 13, Пов. бр. 1601].

тив его подчинения гитлеровскому диктату; любой же шаг в сторону сближения с фашистскими странами осуждался.

Особенно большое беспокойство советской дипломатии вызывала деятельность нацистов по сколачиванию «нового порядка» в Европе. Постпредство в Белграде внимательно следило за реакцией в Югославии на присоединение к «тройственному пакту» Венгрии, Румынии и Словакии. Оно широко использовало опровержение ТАСС от 23 ноября 1940 г., где говорилось, что сообщение немецкой печати, будто присоединение Венгрии к «пакту трех держав» достигнуто при сотрудничестве и полном одобрении Советского Союза, «ни в коей мере не соответствует действительности» [22, с. 534]. В обзоре постпредства о событиях в Югославии во второй половине 1940 г. давался такой комментарий к этому документу: «Иными словами, Советский Союз не имеет ничего общего с так называемой „организацией нового порядка“ в Европе, представляющей собой не что иное, как борьбу немцев за создание обширного плацдарма в целях дальнейшей реализации своих военных планов» [18, ф. 0144, оп. 23, д. 16, п. 107, л. 5—18]. Надо полагать, что именно так комментировали в своих беседах упомянутые события сотрудники советского постпредства в Югославии. В постпредстве ясно видели тактику Германии по отношению к Югославии, рассчитанную на ее «добровольную сдачу». С этих позиций оценивались и действия югославских правящих кругов, в частности Д. Цветковича, его неоднократные выступления с заверениями, что Югославия также примет участие в «новом порядке». Подобные заверения трактовались постпредством весьма реалистично: «Эти расшаркивания Цветковича перед „создателями“ „нового порядка в Европе“ показывают тактику югославского правительства по отношению к Германии: раскланиваться, уступать, договариваться, бросать в пасть оцетинившегося зверя огромные партии продовольствия и ископаемых богатств за счет своего народа, — лишь бы сохранить свою „самостоятельность“, лишь бы „переждать“ до того времени, когда Англия восстановит свое могущество и станет хозяином положения» [18, ф. 0144, оп. 23, д. 16, п. 107, л. 5—18]. По сути, советские дипломаты ставили в упрек югославскому правительству действия, которые составляли предмет гордости советского НКВД, когда они касались СССР.

Недоброежелательно был расценен советской стороной и заключенный между Югославией и Венгрией 12 декабря 1940 г. пакт «о вечной дружбе». Постпредство считало его, учитывая присоединение Венгрии к «тройственному пакту», новой уступкой Германии со стороны Югославии и доказательством ее «частичного вползания в систему стран оси» [18, ф. 0144, оп. 23, д. 16, п. 107, л. 5—18].

Советское постпредство в Белграде было уверено в том, что Югославия проводила сложную политику лавирования между Германией и Великобританией, стремясь при этом разыграть и советскую карту. Оно справедливо полагало, что такой политике подходит конец и впереди — новый этап германского нажима и экспансии. Однако выводы, делавшиеся из анализа обстановки, основывались на реалистических тактических и общи-бчных стратегических посылах. В отчете постпредства говорилось: «Захват балканских стран и, прежде всего, Болгарии и Югославии, обеспечил бы за Германией первостепенные стратегические позиции как для дальнейшей борьбы против Англии на Средиземном море и на Ближнем Востоке, так и против Советского Союза, военная мощь которого всегда находится в поле зрения германской стратегии.... Но Германия пока не заинтересована в столкновении с Советским Союзом, так как Англия еще имеет значительные шансы на укрепление своих военных сил, особенно благодаря настойчивой и все возрастающей помощи США. Следовательно, Германия предвидит еще большие трудности впереди». Такие констатации документа нуждаются в комментарии. Бросается в глаза, что он был составлен примерно месяц спустя после того, как Гитлер одобрил план «Барбаросса». Далее, утверждение о незаинтересованности Германии в столкновении с СССР соседствовало со следующим тезисом: «Англия стремится втянуть в войну Советский Союз, дабы перенести центр тяжести борьбы с Герма-

нией на плечи СССР. Поэтому резонно предположить, что через свою агентуру на Балканах она ведет работу именно в этом направлении» [18, ф. 0144, оп. 23, д. 16, п. 107, л. 5—18].

Оба постулата не базировались на сведениях самого постпредства в Белграде и выходили за пределы его компетенции. Логично допустить, что они скорее всего восходили к какому-то установочному материалу (неизвестному пока исследователям), полученному для ориентировки из центрального аппарата НКВД. Такое предположение основывается на наблюдении, что сходные мысли высказывались советскими представителями и в других странах, а также частично проникли в прессу.

По-другому обстояло дело с анализом балканской ситуации, хотя и здесь жесткие установки давали о себе знать. Так, говоря о стремлении советской политики уберечь Балканы от огня войны, постпредство резонно считало, что успешность таких намерений «предполагает активную борьбу Болгарии и Югославии против как английских, так и германских стремлений перебросить войну на Балканский полуостров». Поэтому сближение этих стран с СССР может дать советской дипломатии рычаги для сохранения мира на Балканах. Однако оставался без ответа вопрос, как можно скоординировать деятельность этих стран, если к тому же учесть, что в правящих кругах Болгарии преобладала прогерманская ориентация, а в Югославии — проанглийская. К тактическим шагам югославского правительства советское постпредство относилось с большой подозрительностью. Давая прогноз на будущее, оно писало в своем отчете (январь 1941 г.): «В критический момент Югославия может сделать решительный сдвиг в сторону Советского Союза для своей защиты против Германии. Внешне это может выглядеть как отражение широких народных стремлений к сближению с СССР, на деле же здесь придется предположить, поскольку речь идет о действиях правительства и принца-регента, чрезвычайно эффективный ход английской дипломатии» [18, ф. 0144, оп. 23, д. 16, п. 107, л. 5—18].

Мотив английских интриг, наряду с подчеркиванием все более усиливающегося германского нажима, постоянно звучал в документах постпредства в Белграде. Не был он забыт и в справке «Правительство Югославии», составленной 19 февраля 1941 г. первым секретарем постпредства Патрикеевым, где освещались некоторые перемещения в кабинете и расстановка сил в связи с приближением коронации престолонаследника Петра II. Там отмечалось, что югославское правительство вынуждено учитывать симпатии народа к СССР и иногда делает «кивки в сторону СССР, облекая это в форму национального братства» между советскими и югославскими народами. «Но эти кивки делаются постольку, поскольку они не противостоят основной проанглийской линии югославского двора и правительства, делая это вряд ли без ведома Англии, заинтересованной в том, чтобы втянуть нас в войну с Германией в своих интересах» [18, ф. 0144, оп. 23, д. 2, п. 107, л. 1—4].

Однако события, связанные с присоединением 1 марта 1941 г. Болгарии к «тройственному пакту» и вступлением германских войск на ее территорию, а затем государственный переворот 27 марта 1941 г. в Югославии, в результате которого было свергнуто правительство Цветковича — Мачека, подписавшее протокол о присоединении страны к «тройственному пакту», и приход к власти правительства генерала Д. Симовича заставили советскую дипломатию пересмотреть прежнюю сдержанную позицию. Советское руководство приняло решение оказать новому югославскому правительству моральную и политическую поддержку и дало согласие начать с ним переговоры о заключении политического договора.

Опубликованные в 1989 г. в СССР дипломатические документы о предыстории советско-югославского договора проливают свет на ряд аспектов его заключения. Так, они дают основание предполагать, что мартовский государственный переворот не был полной неожиданностью для Советского правительства. Основанием для такого предположения служит вытекающий из документов факт визита в Москву в конце февраля 1941 г. Б. Спмича. По этому поводу в телеграмме в НКВД советского поверенного

в делах в Югославии В. З. Лебедева от 1 марта содержится всего одна фраза: «Приехавший в Москву Симич имеет, по неофициальным сведениям, секретные полномочия для переговоров с Советским правительством» [23, с. 57]. Эта фраза порождает, однако, множество вопросов, на которые пока нет ответов. Кто наделил Симича «секретными полномочиями»? Вряд ли правительство Цветковича — Мачека. Далее в опубликованных советских документах Симич упоминается как «представитель премьера» югославского правительства генерала Д. Симовича [23, с. 59], действующий в качестве посредника между ним и советским постпредством. Можно ли отсюда сделать вывод, что и в конце февраля 1941 г. Симич был наделен полномочиями для ведения переговоров в Москве группой лиц, готовивших государственный переворот? Вряд ли Советское правительство согласилось бы вести переговоры, пусть даже и секретные, с малоизвестной личностью, представляющей просто группу заговорщиков, хотя бы и движимых благородными намерениями.

По-видимому, о Б. Симиче в Москве сложилось весьма позитивное мнение. Ничем другим нельзя объяснить следующую фразу из телеграммы Молотова от 31 марта Советскому постпредству в Белграде о согласии начать переговоры о заключении договора с Югославией: «Хорошо бы иметь в составе делегации Божина Симича, если югославы не возражают» [23, с. 59]. Известно, что он был включен в состав югославской делегации и его подпись стоит под советско-югославским договором о дружбе и ненападении от 5 апреля 1941 г. наряду с подписями М. Гавриловича и полковника Д. Савича. Кто же такой Б. Симич? Исчерпывающего ответа на этот вопрос не дает ни советская, ни югославская историография⁶. Несомненно, однако, что его освещение вскроет неизвестные еще пласты исторических событий.

Из опубликованных советских документов, связанных с заключением советско-югославского договора, в частности, становится ясно, что инициатива исходила от югославских военных кругов, а переговоры вначале велись без участия югославского МИД. Надо полагать, такое положение было вызвано отсутствием единства среди членов правительства Д. Симовича по ряду проблем внешней (равно и внутренней) политики. Далее, советская дипломатия положительно расценила намерения Югославии «не раздражать» Германию и одобрила заявления правительства Симовича о том, что присоединение Югославии к «тройственному пакту» остается в силе. На сообщении В. З. Лебедева о беседе с министром иностранных дел Югославии М. Нинчичем на эту тему из Москвы немедленно последовал ответ: «Изложенную Нинчичем 31 марта в его беседе с Вами позицию югославского правительства мы считаем правильной. Другую позицию в данный момент Югославия занять не могла» [23, с. 60]. Скорее всего, такая официальная югославская позиция облегчала действия советской дипломатии, учитывая резкое обострение советско-германских отношений после вступления германских войск в Болгарию⁷.

Советская сторона немедленно откликнулась на пожелание премьер-министра Симовича, когда тот вечером 3 апреля 1941 г. обратился к Лебедеву с просьбой «передать Молотову и Сталину, что Югославии сейчас нужна срочная моральная помощь в виде сильного демарша СССР в Берлине, чтобы остановить немецкую интервенцию или во всяком случае дать

⁶ Югославский историк Б. Петранович упоминает Б. Симича как одного из славнофильски ориентированных участников государственного переворота 27 марта 1941 г., с которыми был связан руководитель советской военной разведки на Балканах Мустафа Голубич. Другой югославский исследователь, Й. Марьянович, писал о полковнике Б. Симиче как участнике организации «Черная рука» (тайная патриотическая организация сербских офицеров, существовавшая накануне и в годы первой мировой войны). После подписания советско-югославского договора Симич до лета 1941 г. находился в Москве, затем проживал в эмиграции, преимущественно в Лондоне, выступал в поддержку народно-освободительного движения в Югославии и внешнеполитических акций СССР [24].

⁷ В беседе с германским послом в Москве Ф. фон Шуленбургом 1 марта 1941 г. Молотов охарактеризовал германские действия как «военную оккупацию Болгарии» и как «курс, наносящий ущерб интересам безопасности СССР» [25, с. 151—152].

Югославии время закончить мобилизацию». При этом Симович заявил, что «считает договор с СССР уже существующим, хотя формально он, возможно, еще не подписан». Он ознакомил советского поверенного в делах с последними данными разведки о стягивании немецких войск к границам Югославии, а также передал сведения, полученные югославской стороной от шведского посланника в Берлине, что у немцев имеется план нападения на СССР, предположительно в мае [23, с. 60—61].

На следующий день, 4 апреля, Молотов пригласил к себе германского посла в Москве Шуленбурга. По форме их беседа носила характер информации советской стороны о предстоящем заключении советско-югославского договора. При этом Молотов несколько погрешил против истины, заявив, что переговоры уже закончились (на деле они завершились лишь вечером 5 апреля) [8, с. 14—15; 9, р. 277—278]. В ходе беседы он неоднократно подчеркивал, что Советский Союз руководствовался при этом интересами мира и его защиты на Балканах, а также не раз возвращался к мысли, что было бы желательно, чтобы и Германия сделала «в своих взаимоотношениях с Югославией все возможное, что соответствует интересам мира». В ответ Шуленбург развивал контраргументацию, доказывая, что момент для советско-югославского договора выбран критический, что его заключение произведет «странное впечатление в Берлине» и может даже иметь «обратное действие», и предлагал Советскому правительству еще раз обдумать свой шаг. Молотов возражал, утверждая, что Югославия не проводит никаких антигерманских мероприятий и принимает меры, чтобы сохранить хорошие отношения с соседями, а также мир. Он отметил, что югославское правительство считает остающимся в силе договор о присоединении к «тройственному пакту». Беседа походила на прокручивание испорченной пластинки, когда каждый из участников многократно повторял с небольшими вариациями одни и те же мысли. Молотов не раз акцентировал внимание германского посла на том, что Советское правительство обдумало свой шаг и приняло окончательное решение [23, с. 61—62].

Не формулируя прямо, Молотов дал ясно понять, что германские действия по отношению к Югославии являются пробным камнем готовности Германии считаться с интересами СССР. В рамках чисто дипломатических действий добиться большего для поддержки Югославии было, пожалуй, трудно, не ставя под вопрос советско-германских договоров 1939 г., на что Сталин и Молотов не были готовы. Понятно, что такой демарш не мог оказать влияния на решение Германии напасть на Югославию 6 апреля 1941 г. (этот срок был установлен Гитлером сразу по получении известий о государственном перевороте в Югославии).

История заключения советско-югославского договора о дружбе и ненападении от 5 апреля 1941 г. достаточно хорошо, хотя и не исчерпывающе, освещена в научной литературе [3; 7; 8; 9], и нет смысла ее пересказывать. Следует, однако, привести выдержку из телеграммы, посланной из Москвы 6 апреля В. З. Лебедеву. В ней разъяснялось, что в окончательной редакции договора «в статье 2 слово „нейтралитет“ исключено в тех целях, чтобы не дать основания считать, что СССР в случае нападения на другую Договаривающуюся сторону умывает руки и остается безразличным к судьбе этой Стороны. Словами „другая Договаривающаяся сторона обязуется соблюдать политику дружественных отношений...“ с Стороной, подвергшейся нападению, подчеркивается, что СССР не может относиться безразлично к судьбе этой Стороны»⁸ [23, с. 63]. Другими словами, советская дипломатия как бы заранее резервировала позицию дифференцированного отношения к воюющим сторонам в случае германского нападения на Югославию.

Конкретно это проявилось в осуждении Венгрии за участие в агрессии против Югославии. В заявлении, сделанном заместителем наркома иностранных дел СССР А. Вышинским венгерскому посланнику в Москве

⁸ В этой телеграмме был передан смысл фразы, сказанной Сталиным в беседе с югославским посланником в Москве М. Гавриловичем вечером 5 апреля 1941 г. [8, с. 14].

Ж. Криштоффи 12 апреля говорилось: «На Советское правительство производит особенно плохое впечатление то обстоятельство, что Венгрия начала войну против Югославии всего через 4 месяца после того, как заключила с ней пакт о вечной дружбе. Нетрудно понять, в каком положении оказалась бы Венгрия, если бы она сама попала в беду и ее стали бы рвать на части, так как известно, что в Венгрии также имеются национальные меньшинства» [22, с. 549]. Прямого осуждения Германии, однако, не последовало.

Анализ побудительных стимулов советского руководства при заключении договора с Югославией служит в значительной степени ключом к пониманию всей советской политики на Балканах в тот период, и в частности по отношению к Югославии после восстановления дипломатических отношений. Идя на заключение договора, советская дипломатия прекрасно понимала, что он не является для Югославии гарантией от нападения со стороны держав «оси». Расчет был на морально-политическую сторону вопроса, международное звучание этого акта, на демонстрацию советских интересов на Балканах⁹. Это был самый яркий эпизод за все время действия советско-германского пакта о ненападении, когда советская внешняя политика вошла в открытую конфронтацию с политикой гитлеровской Германии. Вместе с тем он показал и пределы, до которых готово было идти сталинское руководство в защите интересов СССР, даже в тех случаях, когда они явственно попирались германской стороной.

Откровенное игнорирование Германией советских интересов даже в таком регионе, как Балканский, где в соответствии с советско-германскими договоренностями обе стороны обязались действовать согласованно, должно было насторожить Сталина и его окружение, тем более что в тот период сведения о подготовке германского нападения на СССР поступали из различных источников. Логично предположить, что внутренняя взаимозависимость этих обстоятельств была подмечена советской дипломатией. Действительно: зачем считаться с интересами другой стороны, если собираешься в скором времени напасть на нее?

Предупреждения о подготовке Германией войны против СССР шли в Москву со всех сторон. В этих условиях перед советским руководством встала альтернатива: либо немедленно начать подготовку к военным действиям, либо попытаться дипломатическими средствами избежать военного столкновения. Был избран второй вариант, хотя он имел наименьшие (а лучше сказать — нулевые) шансы на успех. Однако в слепой [самонадеянности] Сталин повел страну по этому пути и приступил к проведению ряда внешнеполитических мероприятий, многие из которых носили сомнительный и двусмысленный характер.

Новый этап сталинской внешней политики примерно с середины апреля до 22 июня 1941 г. можно условно назвать этапом «умиротворения агрессора». Он начался 13 апреля с театрального эпизода на перроне вокзала в Москве во время проводов министра иностранных дел Японии после подписания советско-японского пакта о нейтралитете¹⁰. Характерно, что

⁹ Другой подобной демонстрацией, последовавшей после вступления германских войск в Болгарию, был обмен заявлениями между советским и турецким правительствами в конце марта 1941 г. Советское правительство опровергло распространявшиеся слухи (особенно здесь усердствовала германская дипломатия и пропаганда) о намерениях СССР «захватить Дарданеллы и Константинополь» и выступило с официальным заявлением: «Если Турция действительно подвергнется нападению и будет вынуждена вступить в войну для защиты своей территории, то Турция, исходя из существующего между нею и СССР пакта о ненападении, может рассчитывать на полное понимание и нейтралитет СССР» [22, с. 547]. Нетрудно увидеть переключку мотивов этого заявления и советско-югославского договора. Интересно отметить, что в беседе с Шуленбургом 4 апреля 1941 г. Молотов сам проводил параллель между содержанием готовившегося договора с Югославией и советско-турецкого договора от 1925 г. [23, с. 61—62].

¹⁰ Описывая эту «необычную церемонию», германский посол Шуленбург сообщал в Берлин, как совершенно неожиданно и для японцев, и для русских «вдруг появились Сталин и Молотов и в подчеркнуто дружеской манере приветствовали Мацуоку и японцев, которые там присутствовали, и пожелали им приятного путешествия. Затем Сталин громко спросил обо мне и, найдя меня, подошел, обнял меня за плечи и сказал: „Мы должны остаться друзьями, и Вы должны теперь все для этого сделать“. Затем

вся сцена была разыграна неделю спустя после германского нападения на Югославию и имела целью «умиротворить» нацистов, явно враждебно расценивших советско-югославский договор.

В середине апреля 1941 г. Шуленбург выехал в Берлин для консультаций. Он нашел Гитлера возмущенным фактом заключения советско-югославского договора [26]. Возвратился германский посол в Москву 30 апреля с пустыми руками, т. е. не привезя никаких предложений относительно улучшения советско-германских отношений, как это ожидалось советским руководством. Сам Шуленбург воспринял этот факт как плохое предзнаменование и прокомментировал в беседе с советником германского посольства Г. Хильгером, которому доверял, как решимость Гитлера начать войну с СССР [27].

Между тем в НКВД СССР текст советско-югославского договора и его формулировки были подвергнуты, по справедливому замечанию А. Л. Нарочницкого, «тщательному юридическому анализу с точки зрения их соответствия обязательствам СССР, вытекавшим из пакта о ненападении от 23 августа 1939 г. с фашистской Германией» [8, с. 17]. Датированная 22 апреля 1941 г. справка [18, ф. 0144, оп. 23, д. 2, п. 107, л. 65—72] была составлена с прозрачной целью аргументировать советскую позицию в случае, если германская сторона поднимет вопрос о противоречии отдельных его формулировок положениям советско-германских договоров. Особое внимание ее составителей привлекла, естественно, вторая статья советско-югославского договора, которая заметно отклонялась от типовых формулировок пактов о ненападении. В ней говорилось о том, что в случае, если одна из сторон окажется объектом военных действий со стороны третьей державы, то другая сторона обязуется соблюдать политику дружественных отношений с ней. Эластичность этой формулировки открывала дорогу для самой широкой интерпретации, в которую могло быть вложено и нечто большее, чем морально-политическая поддержка и дипломатическое содействие, и подразумевала «некоторую позитивную помощь в ведении войны». Написанная по заданию руководства, справка была выдержана в духе «игры на понижение», хотя ее авторам это не везде удалось (а может быть, и не везде хотелось).

6 мая 1941 г. Сталин возглавил Совет Народных Комиссаров СССР, сменив на этом посту Молотова, который остался заместителем Предсовнаркома и народным комиссаром иностранных дел. Впервые полновластный диктатор занял официальный государственный пост. Характерны комментарии Шуленбурга по поводу перемен на вершине советской политической пирамиды. Причину отстранения Молотова, полагал он, «следует искать в недавних ошибках во внешней политике, которые привели к охлаждению дружественных германо-советских отношений»¹¹. Что касается «нового возвышения Сталина», то Шуленбург объяснял это его желанием лично «взять на себя полную ответственность за судьбу Советского Союза» в ситуации, которую он считает серьезной. «Я убежден,— писал германский дипломат,— что Сталин использует свое новое положение для того, чтобы принять личное участие в деле сохранения и развития хороших отношений между СССР и Германией» [25, с. 162].

Действительно, первый шаг нового премьера на международной арене носил демонстративный характер и был выдержан в духе «умиротворения»: 8 мая советское правительство прервало дипломатические отношения с Бельгией, Норвегией и Югославией, т. е. со странами, оккупированными нацистской Германией, с мотивировкой, что они утратили суверенитет. При этом представителям Бельгии и Норвегии были направлены ноты, а югославскому посланнику М. Гавриловичу сделано вербальное

Сталин повернулся к исполняющему обязанности немецкого военного атташе полковнику Кребсу и, предварительно убедившись, что он немец, сказал ему: „Мы останемся друзьями с Вами в любом случае“. По мнению Шуленбурга, Сталин сознательно привлёк внимание многочисленных присутствующих к этой сцене с германскими официальными лицами [25, с. 157].

¹¹ Хотя Шуленбург не привел никаких примеров, можно уверенно полагать, что одной из таковых «ошибок» с германской точки зрения было заключение советско-югославского договора.

заявление с разъяснением, что он может остаться в Москве¹². Однако данное различие не было принципиальным. Более того, можно высказать предположение, что весь этот шаг был предпринят именно для того, чтобы задним числом оправдаться перед Гитлером за заключение советско-югославского договора и заблаговременно снять этот вопрос в предвидении возможных советско-германских переговоров, о которых также ходили слухи. Независимо от скрытых замыслов сталинского руководства, это был беспринципный и бесполезный маневр, только нанесший ущерб международному престижу СССР.

Чувство «югославской вины» не покидало сталинское руководство вплоть до нападения Германии на СССР. Оправдательные мотивы звучали и в беседе Молотова с Шуленбургом, состоявшейся 21 июня. В ее советской записи говорится: «...Тов. Молотов заявляет, что по его мнению, нет причин, по которым германское правительство могло бы быть недовольным в отношении СССР. Советско-югославский пакт, который так раздували за границей, как противоречащий советско-германским взаимоотношениям, ограничен, как я ранее пояснил, узкими рамками и не мог отразиться на наших взаимоотношениях. В настоящее время этот вопрос вообще потерял свою актуальность» [23, с. 63]. Однако все эти самоуничижительные оценки не имели уже никакого значения. 22 июня 1941 г. все поставило на свои места...

Подводя итог, можно сказать, что история советско-югославских отношений в 1939—1941 гг. отразила все перипетии международных событий со всеми их неожиданными поворотами. Однако даже краткое ее рассмотрение показывает, что по многим проблемам существует больше вопросов, чем ответов. Недоступными исследователям остаются многочисленные архивные фонды, в первую очередь это относится к советским материалам. Дальнейшие исследования откроют не только новые страницы истории, но и позволят глубже оценить уже известные факты и события.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Винавер В.* Спљонополитичка позадина успостављања југословенско-совјетских дипломатских односа 1940. године. — В кн.: Зборник Матице српске за друштвене науке. Нови Сад, 1966, св. 45.
2. *Винавер В.* Прилог историји југословенско-совјетског политичког сближења 1940—1941. године. — Историјски гласник, 1966, № 1.
3. *Винавер В.* Југословенско-совјетски пакт од априла 1941. године. — Историјски гласник, 1973, № 1.
4. *Avramovski Z.* Attempt to form a neutral Block in the Balkans (September—December 1939). — *Studia Balcanica*. Sofia, 1971, v. 4; *Culinović F.* Dvadeset sedmi mart. Zagreb, 1965; *Terzić V.* Slom Kraljevine Jugoslavije 1941. Knj. 1—2. Beograd, 1983; *Lukač D.* Treći Rajh i zemlje Jugoistočne Evrope. Knj. II. Beograd, 1982.
5. История Югославии. Т. 2. М., 1963.
6. История второй мировой войны 1939—1945. Т. 3. М., 1974.
7. *Славин Г. М.* О советско-югославском договоре о дружбе и ненападении 1941 г. — В кн.: Балканские исследования. М., 1984, вып. 9.
8. *Нарочницки А. Л.* Советско-югославский договор 5 апреля 1941 г. о дружбе и ненападении. — Новая и новейшая история, 1989, № 1.
9. *Hoptner J.* Yugoslavia in Crisis, 1934—1941. New York, 1962.
10. Yugoslavia and the Soviet Union, 1939—1973: A documentary survey. / Ed. by Glissold St. London, 1977.
11. *Tejchman M.* Voј o Balkan. Balkánske státy v letech 1939—1941. Praha, 1982; *Kozeňski J.* Agradња na Jugoslawie 1941. Poznań, 1979; *Сирков Д.* Вьнштата политика на България 1938—1941. София, 1979.
12. *Волков В. К.* Англо-франко-советские переговоры 1939 г. и их отражение в югославских дипломатических документах. — В кн.: Международные отношения на Балканах (Балканские исследования). М., 1974.
13. Правда, 1989, 12 XII.
14. Политический кризис 1939 г. и страны Центральной и Юго-Восточной Европы. — Советское славяноведение, 1989, № 5.
15. Дипломатки архив Државног Секретаријата за иностране послове. Лондонско Посланство.

¹² М. Гаврилович и сотрудники посольства оставались в Москве до 10 июня 1941 г., после чего выехали на Ближний Восток. 20 июля 1941 г. Гаврилович вернулся в Москву [28].

16. *Balfour N., Mackay S.* Paul of Yugoslavia: Britain's maligned friend. London, 1980, p. 199—200.
17. Известия, 1940.
18. Архив внешней политики СССР.
19. *Молотов В. М.* Внешняя политика Советского Союза: Доклад на заседании VII сессии Верховного Совета Союза ССР 1 августа 1940 г. М., 1940, с. 5.
20. *Boban L.* Maček i politika HSS 1928—1941. Knj. II. Zagreb, 1974, s. 345.
21. Aprilski rat 1941. Zbornik dokumenata. Knj. I. Beograd, 1969, s. 769—770.
22. Внешняя политика СССР. Сборник документов. Т. IV. М., 1946.
23. Вестник МИД СССР, 1989, № 15 (49).
24. *Petranović B., Dautović S.* Jugoslovenska revolucija i SSSR (1941—1945). Beograd, 1988, s. 16, 43—49.
25. СССР — Германия, 1939—1941. Документы и материалы о советско-германских отношениях с сентября 1939 г. по июль 1941 г. Т. 1. Вильнюс, 1989.
26. *Gorodetsky G.* Stafford Cripps' mission to Moscow, 1940—1942. Cambridge, 1984, p. 136.
27. *Hilger G., Meyer A.* The incompatible allies: A memoir-history of german-soviet relations, 1918—1941. New York, 1953.
28. *Popović N.* Jugoslovensko-sovjetski odnosi u drugom svetskom ratu. Beograd, 1988, s. 28.



КОСИК В. И.

РУССКАЯ ДИПЛОМАТИЯ И ГЕНЕРАЛЫ В БОЛГАРСКОМ КНЯЖЕСТВЕ, 1881—1883 ГОДЫ

Участие *de facto* и *de jure* российских военных и дипломатических представителей в управлении Болгарским княжеством представляет уникальное явление как в истории становления болгарской буржуазной государственности, так и в истории балканской политики России. Эта тема, присутствующая во многих работах, требует специальной разработки, которой пока нет ни в отечественной, ни в зарубежной литературе. В научно-популярной работе П. Н. Милюкова [1] сжато очерчена деятельность русских генералов в княжестве, но не уделяется достаточного внимания Хитрову. В монографии С. Д. Сказкина [2] проведен анализ политики России в Болгарском княжестве через призму «железнодорожного вопроса». Некоторые положения по данной проблеме, содержащиеся в книге, нуждаются в уточнении и расширении. Болгарская историография проблемы является более богатой, например [3; 4; 5]. Задача автора статьи заключается в попытке освещения и анализа программных установок и политической деятельности представителей России в княжестве после приостановки в 1881 г. действия конституции.

Как известно, болгарская конституция, принятая в Тырново в 1879 г., считалась современниками одной из самых прогрессивных. В ходе Тырновского Учредительного собрания выделились два политических течения — консервативное и либеральное. Первое представляло интересы кругов, поддерживавших князя Александра в его стремлениях ограничить конституцию. Либеральное течение боролось за сохранение Тырновской конституции, за укрепление роли народного представительства и выступало против чрезмерного усиления единоличной княжеской власти.

Болгарский князь Александр I Баттенберг с самого начала своего правления был склонен к ревизии конституции, что встречало поддержку у консерваторов. Подготовка князя к отмене конституции вступила в решающую фазу после убийства императора Александра II. Уже 27 апреля (9 мая) 1881 г. Александр I, не информируя правительство России, опубликовал обращение к народу, в котором, в частности, заявил, что только в случае узаконения определенных условий, необходимых для управления страной, он может остаться на болгарском престоле.

В этой ситуации руководство российского МИД было вынуждено констатировать, что альтернативы избранному князем пути не существует. В своей записке императору глава российского внешнеполитического ведомства Н. К. Гирс отмечал, что «положение наше весьма деликатное, так как, с одной стороны, нельзя не сознаться, что дело тут идет о настоящем *coup d'état* (государственный переворот. — В. К.), а с другой сторо-

Косик Виктор Иванович — канд. ист. наук, научный сотрудник Института славяноведения и балканистики АН СССР.

ны, нам, мне кажется, нельзя не поддержать князя, уже потому, что удаление его неминуемо повлечет полную анархию в Болгарии и вызовет бесконечные дипломатические затруднения» [6, ф. ПА, д. 5, л. 12 и об. Н. К. Гирс — Александру III, май 1881 г.]. Все это привело к тому, что в Петербурге было принято решение о поддержке Александра I. К этому остается только добавить, что суть официальной петербургской политики состояла в укреплении российского влияния в княжестве и упрочении единичной власти Александра I, чья кандидатура была в свое время выдвинута Россией.

1(13) июля 1881 г. Александр I получил от специально созванного I Великого Народного собрания согласие на предоставление ему чрезвычайных полномочий сроком на семь лет для введения изменений в управление, что фактически означало приостановку действия конституции.

Введение режима полномочий автоматически влекло за собой укрепление позиций консерваторов в стране. В новой обстановке им было фактически гарантировано большинство и в Народном собрании, которое по манифесту князя от 2 июля должно было созываться для обсуждения важнейших проблем. Этим маневром Александр I отводил от себя возможные подозрения в диктаторстве.

С провозглашением режима полномочий наиболее трудная задача возлагалась на министерство внутренних дел, которое должно было обеспечить необходимый князю и остававшимся пока в тени консерваторам порядок. По признанию Александра I и его консервативного окружения, в стране не находилось никого на пост главы этого министерства [6, ф. Отчеты МИД за 1881 г., л. 140об.]. Вследствие этого, после отъезда К. Г. Эрнрота ¹, на освободившееся место в новом правительстве князем был временно назначен русский офицер подполковник А. А. Ремлинген ², хорошо зарекомендовавший себя перед Эрнротом и князем во время своей деятельности на посту одного из чрезвычайных комиссаров ³. Это назначение отвечало интересам княжеско-консервативной коалиции, видевшей в Ремлингене сторонника своих планов. Было оно выгодно и российской дипломатии, получавшей дополнительную возможность контроля над положением дел в княжестве и, главное, возможность подстраховать свои интересы в «железнодорожном вопросе» ⁴.

Первые княжеские указы касались различных сторон внутренней жизни страны и были направлены на ослабление политического брожения и упрочение режима полномочий. Были провозглашены прогрессивные реформы в области налогообложения и торговли. В целях усиления своей популярности князь 30 августа 1881 г. издал указы об отмене института чрезвычайных комиссаров и их помощников, об амнистии для лиц, обвиняемых в политических преступлениях.

Однако основная реформа князя — введение Государственного совета — встретила ряд трудностей. Александр I рассчитывал, что назначение членов совета станет его личной прерогативой. Естественно, что ближайшие сподвижники князя из консервативного окружения поддерживали его. Русский дипломатический представитель в Софии, М. А. Хитрово, придерживался иной точки зрения.

¹ Эрнрот, находясь на посту военного министра княжества, принял самое активное участие в деле приостановки конституции. После роспуска либерального правительства он был назначен главой временного правительства и министром внутренних дел. Выехал в Россию после Великого Народного собрания.

² По постановлению Тырновского учредительного собрания участники освобождения Болгарии могли назначаться на службу в княжестве наравне с болгарями.

³ Институт чрезвычайных комиссаров был создан Эрнротом в мае 1881 г. Комиссары осуществляли контроль над армией, полицией, администрацией округов и не должны были допускать волнений среди населения.

⁴ Согласно постановлению Берлинского трактата княжество должно было построить участок железной дороги Вена — Константинополь, проходивший по болгарской территории. Австрия, прямо заинтересованная в этой железнодорожной линии, настаивала на первоочередном выполнении княжеством данного обязательства и поддерживала претензии железнодорожного дельца Гирша на передачу ему концессий. Россия же стремилась закрепить концессии за русской компанией Гиндбурга. Одновременно в Петербурге выступали за скорейшее строительство железнодорожной линии, связывающей Софию с Дунаем и имевшей стратегическое значение [2, с. 255—265].

Несколько слов о нем. Михаил Александрович Хитрово (1837—1896) с весны 1881 г. был аккредитован в Софии. «Ради того, что он считал интересом России, он, во всякое время, готов был поставить на карту служебную карьеру», — писал о Хитрово в своих воспоминаниях дипломат Ю. А. Карцов [7]. И это не было фразой. Надо добавить, что Хитрово принадлежал к лагерю сторонников активизации русской политики на Балканах. По приезде в княжество Хитрово оказал действительную поддержку Александру I во время предвыборной кампании перед созывом Великого Народного собрания. Но первоначальное убеждение Хитрово в необходимости поддержки Александра I постепенно исчезало, уступая место сильнейшим подозрениям в том, что князь является орудием некоей австро-германской интриги. Не меньшую подозрительность у него вызывали и консерваторы из ближайшего окружения Александра I. В связи с их стремлением занять такое же исключительное положение в стране, какое до государственного переворота занимали либералы, Хитрово был обеспокоен судьбой решения «железнодорожного вопроса». Достаточно ознакомленный с состоянием дел в этой области, Хитрово считал, что консерваторы будут препятствовать его разрешению в желательном для России смысле.

В этом и состояла основная причина как зондажа Хитрово почвы для контактов с либералами, так и его настойчивости в вопросе о выборности членов Госсвета. Тактика Хитрово была ясна — не допустить превращения совета в вотчину консерваторов. Забегая вперед следует сказать, что Хитрово возлагал большие надежды на Госсвет как на орган, который мог бы решить задачу формирования смешанного правительства. По его мнению, такое правительство было бы гарантией защиты русских интересов от случайностей и неожиданностей, обусловленных «игрой в политические партии» и нестабильности самого правительства, пытавшегося опереться то на одно, то на другое политическое течение. Но пока Госсвет не окрепнет и не подготовит почвы для создания удобного для России смешанного правительства, министерство внутренних дел должно оставаться в руках русского ставленника [6, ф. ГА У—А₂, д. 919, л. 7—9. М. А. Хитрово — Н. К. Гирсу, 31 января (12 февраля) 1882 г.].

План Хитрово по обеспечению контроля над положением дел в княжестве, занимавшем важное место в стратегических планах России, был ясен. Однако его осуществление зависело от многих факторов, в том числе и от принципов формирования и деятельности Госсвета.

Как известно, в сентябре 1881 г. был разработан и утвержден устав этого нового института. Его структура была такова: из 12 советников, входивших туда помимо министров, восемь избирались населением, четыре назначались князем. Госсвет имел законодательные, совещательные и контрольно-административные функции.

Предвыборная борьба проходила в сложных условиях. Как либералы, так и консерваторы испытывали определенную тревогу. Для либералов одна из трудностей состояла в том, что активные деятели после государственного переворота переместились в Восточную Румелию. Оттуда они повели кампанию против режима полномочий, подвергая острой критике примиренческую тактику умеренных либералов, решивших принять участие в выборах. Консерваторы из ближайшего окружения князя также испытывали опасения. Это видно из письма одного из лидеров консерваторов, Г. Начовича, к своему корреспонденту: «Внутренние дела в руках наших противников. Причина зла в Хитрово и Дринове, которые хотят либеральничать. Эти две личности лгут князю и управляют Болгарией как им видится. Их намерение — вернуть положение, которое было до 27 апреля» [8]. Можно с уверенностью сказать, что подобные нападки Начовича были вызваны опасением, что власть может ускользнуть из рук консерваторов. Реально такая опасность существовала ввиду трений Хитрово с консерваторами и проектируемого князем назначения М. Дринова, бывшего основным автором принятого устава Госсвета, на пост главы этого высшего учреждения.

Однако ни Хитрово, ни Дринов не оказали воздействия на ход выборов

в Госсовет. Этим лицом был Ремлинген, действовавший, вероятно, без согласования с Хитрово. (Надо заметить, что подобная несогласованность между военными и дипломатическими представителями России в княжестве случалась и ранее.) Так, Ремлинген, которому после отмены института чрезвычайных комиссаров мерещилась возможная победа либералов, разослал по округам циркуляр, согласно которому сельское неграмотное население, поддерживавшее в своей массе князя и консерваторов, допускалось к выборам в обход избирательного закона [6, ф. Отчеты МИД за 1881 г., л. 145об.— 146]. Акция Ремлингена и предопределила исход голосования. Большинство получили представители консервативного лагеря.

Однако доверие к Госсовету было ослаблено вследствие отказа Дринова и ряда других видных деятелей войти в его состав из-за нарушений закона о выборах. Так, Дринов писал Хитрово: «По моему глубокому убеждению, незаконно составленный Державный (т. е. Государственный. — В. К.) совет ничего не в состоянии сделать для водворения законности и порядка в княжестве, все усилия его в этом направлении будут только частью смешить, частью увеличивать негодование публики, которую ничем нельзя заставить относиться серьезно и с доверием к незаконнорожденному стражу законности» [6, ф. ГА У—А₂, д. 919, л. 51об. Копия письма М. С. Дринова М. А. Хитрово, 24 декабря 1881 г.]. Здесь Дринов был не совсем прав. Окончательно составленный в декабре 1881 г. в основном из умеренных консерваторов, искавших сближения с умеренными либералами, Госсовет не стал «слепым орудием» в руках князя и окружавшей его верхушечной консервативной группы.

Тем не менее, последняя могла быть довольна исходом выборов. На повестку дня вставал вопрос замещения своим ставленником Ремлингена, который после создания Госсовета мешал консерваторам. С этой целью было использовано столкновение Ремлингена с редактором консервативной газеты «Български глас», которое закончилось отставкой Ремлингена и назначением на пост министра внутренних дел Начовича.

План Хитрово по сохранению этого поста за русским ставленником срывался. Решение «железнодорожного вопроса» усложнялось, хотя князь старался заверить Хитрово в том, что Начович подчинит политику в этом вопросе интересам России [2, с. 279], и что сам он «во что бы то ни стало желает, чтобы постройка болгарской линии попала в руки русской компании, а именно компании Гинцбурга» [6, ф. ГА У—А₂, д. 919, л. 128об. М. А. Хитрово — Н. К. Гирсу, 14 февраля 1882 г.]. Но каких-либо твердых гарантий Александр I дать не мог. Сам Хитрово писал в МИД, что имя Гинцбурга было в высшей степени непопулярным в княжестве и внушало «болгарам какой-то панический страх: им мерещится целое наводнение страны евреями и передача в их руки финансового положения страны» [6, ф. ГА У—А₂ д. 920, л. 230об. Выписка из донесения М. В. Хитрово МИД, 14 февраля 1882 г.]. Перспектива монополизации Гинцбургом железнодорожного дела в княжестве не отвечала интересам болгарской буржуазии, которая сама стремилась принять участие в строительстве и извлечь соответствующую выгоду. Князь давал гарантию положительного решения проблемы лишь после получения прямого императорского распоряжения по «железнодорожному вопросу». Однако в Петербурге, куда Хитрово выехал в декабре 1881 г. для обсуждения этого острого вопроса, уклонились от каких-либо деклараций. Таким образом, поездка Хитрово потерпела неудачу. Она была обусловлена нежеланием правящих кругов России явно входить в конфликт с Австрией, претендовавшей на первоочередное выполнение княжеством своих обязательств по «железнодорожному вопросу», а также отказом министра финансов предоставить заем на строительство железнодорожной линии София—Дунай.

После посещения Петербурга Хитрово был вынужден изменить свою политику. Он старался убедить болгарское правительство, что «Россия отнюдь не имеет в виду навязывать во что бы то ни стало Болгарии ни обязательства немедленной постройки ее железной дороги, ни преиму-

ществ той или другой компании, и что всякая иная комбинация, могущая вполне гарантировать Болгарию от подчинения иностранному влиянию в железнодорожном вопросе, будет встречена императорским правительством сочувственно». Но, как писал далее в своем донесении Хитрово, «именно этих-то разговоров моих и такового моего образа действий (князь. — В. К.) и не может мне простить... Князь повторяет неоднократно как мне, так и другим лицам — да должно же наконец русское правительство понять, что от болгар в железнодорожном вопросе без прямого давления России ничего не добьешься; они денег на постройку железных дорог ни за что не дадут, а мне железные дороги непременно нужны. Для этого необходимо, чтобы было объявлено болгарам, что это неперменное желание государя императора, тогда они дадут денег на постройку дорог, и я добьюсь, чтобы концессия была дана русской компании Гинцбург» [6, ф. ГА У—А₂, д. 919, л. 131—132. М. А. Хитрово — Н. К. Гирсу, 14 февраля 1882 г.].

Создавшаяся ситуация напоминала обстановку весны 1881 г., когда Александр I вместе с военным министром Эрнротом разработали и осуществили план по приостановке действия конституции. В данном случае мы предполагаем, что князь пытался склонить Хитрово к несанкционированному Петербургом заявлению, что Александр III якобы выразил мнение о необходимости железнодорожного строительства. Но Хитрово, имея собственный план, не шел навстречу Александру I.

Главной задачей для Хитрово было получение от князя реальных гарантий того, что поддержка, оказываемая Александру I Россией, не обернется против нее самой. Их суть сводилась к назначению министров по совету русского правительства, т. е. образованию смешанного кабинета министров и введению на определенный срок в его состав русского представителя на пост министра внутренних дел [6, ГА У—А₂, д. 919, л. 283. М. А. Хитрово — Н. К. Гирсу, 14 февраля 1882 г.], что позволило бы ускорить разрешение «железнодорожного вопроса» в том виде как это представлялось целесообразным Хитрово.

Идеи Хитрово об укреплении русско-болгарских отношений распространялись на экономику и военное дело. Он выступал за установление прямых сообщений между Россией и Болгарией, за прочные экономические связи посредством развития торговых сношений. Касаясь ситуации, когда часть русских офицеров продолжала выполнять полицейские функции, возложенные на них еще Эрнротом, Хитрово предлагал упорядочить положение, т. е. дать им право заниматься своими прямыми обязанностями по обучению болгарской армии [6, ф. ГА У—А₂, д. 920, л. 243—246. Экстракты депеш М. А. Хитрово МИД с 31 января по 12 февраля 1882 г.].

Укрепление позиций России в Болгарии было естественной задачей Хитрово, однако его идеи о «советах», равносильных по своему существу приказам, в вопросе формирования смешанного правительства, особенно о необходимости включения в него в качестве министра внутренних дел русского кандидата объективно должны расцениваться как вмешательство во внутренние дела княжества. Но одновременно следует отметить, что этого вмешательства, особенно по вопросу о русском министре внутренних дел, желали как либералы, стремившиеся не допустить абсолютного господства крайних консерваторов в управлении, так и их противники, которые ввиду усиления либерального движения внушали с конца февраля 1882 г. князю мысль о русском министре внутренних дел [1, с. 37; 2, с. 279].

Вероятно, та настойчивость, с которой Хитрово пытался склонить Александра I к реализации своих замыслов, направленных против самовластной политики консерваторов, связи Хитрово с либералами, его критика княжеской политики послужили поводом к письму князя на имя Александра III с жалобами на Хитрово. По-прежнему доверявший князю и крайне враждебно относившийся к либералам император в своем ответе заверял Александра I в том, что Хитрово получит предписание не вмешиваться в борьбу политических течений и что он одобряет опыт управления с кабинетом консерваторов. Относительно «железнодорожного

вопроса» император писал, что «вопрос касается прежде всего Болгарии: она должна взвесить свои интересы и средства» [6, ф. ГА У—А₂, д. 919, л. 132об. М. А. Хитрово — Н. К. Гирсу, 14 февраля 1882 г.].

Поддержка политического курса князя Александром III значительно подорвала положение Хитрово. Газета «Български глас», стремясь еще больше дезавуировать русского дипломата, передала в искаженном виде смысл императорского послания. В заметке подчеркивалось, что Александр III приказал своему дипломатическому агенту в Софии «состоять совершенно под приказаниями князя» и исполнять все его законные требования [6, ф. ГА У—А₂, д. 919, л. 132об. Вырезка из газеты «Български глас» от 6(18) февраля 1882 г.].

Таким образом, идеи Хитрово по составлению смешанного или нейтрального правительства, с тем чтобы не опираться исключительно на лидеров той или иной партии, увлеченных страстями политической борьбы, были близки к краху.

Действительно, в стране шла острая политическая борьба: движение либералов, несмотря на ряд жестких мер правительства, приобретало все больший размах. Оппозиционные выступления особенно усилились после интернирования в г. Враца одного из популярных политических деятелей, Д. Цанкова, бывшего премьер-министра, оппозиционно настроенного по отношению к установленному режиму.

Не терявший надежды Хитрово рассчитывал, что напряженная ситуация в княжестве убедит официальный Петербург в правильности его позиции. Представляя свои доводы в пользу активизации русской политики в княжестве, Хитрово писал Гирсу, что дальнейшее невмешательство лишило бы политические течения «всякого умеряющего на них влияния, способного удерживать либералов от опасных увлечений, а консерваторов от излишеств, компрометирующих князя (явный намек на интернирование Цанкова. — В. К.), которому в конце концов окажется возможным опереться лишь на русских офицеров». В то же время русский дипломат, намекая на покровительство, оказываемое князю императором, подчеркивал, что «князь привык быть уверенным, что он может заставить наше императорское правительство делать все, что ему заблагорассудится, действуя на нас путем совершившихся фактов... До тех пор, пока князь не потеряет этой веры, у кабинета... не будет ни минуты спокойствия: наша политика должна будет всегда быть готовою бежать вдогонку за выходами самыми неожиданными, за случайностями самыми непредвиденными» [6, ф. ГА У—А₂, д. 919, л. 123, 282об. М. А. Хитрово — Н. К. Гирсу, 14 февраля 1882 г.]. В целом, характер донесений был довольно прозрачен: в Петербурге должны были наконец убедиться в том, что для русского правительства опасны не столько либералы, сколько князь и окружающие его крайние консерваторы.

Предвзято относившийся к Александру I, Хитрово старался в своих донесениях представить его как вождя консерваторов и обвинял князя в дискредитации русского правительства и пренебрежении к нему — полномочному представителю России [6, ф. ГА У—А₂, д. 920, л. 231об. Выписка из донесения М. А. Хитрово МИД, 14 февраля 1882 г.] Подозрительность у Хитрово вызывало и сближение князя с рядом русских офицеров, занимавших влиятельное положение при княжеском дворе и в военном министерстве. В этом сближении Хитрово видел опасность для русской политики, так как князь, которому он все больше не доверял, мог воспользоваться армией в целях, не отвечавших задачам дипломатии Петербурга. В сущности, он боялся «преторианства» на болгарской почве [9]. Однако в Петербурге доверяли князю и не обнаруживали склонности верить Хитрово, пытавшемуся убедить МИД в некоей австро-германской интриге, орудием которой был Александр I и окружавшие его консерваторы.

Князь также находился в сложном положении. Ухудшение отношений с Хитрово, сознание своего бессилия сломить усиливавшееся движение оппозиционных слоев общества, падение авторитета правительства — все это вынуждало князя обращаться за помощью к царю. Александру I и

поддерживавшим его консерваторам надо было решиться еще раз на привлечение в правительство русского ставленника. На своем общем собрании в Софии консерваторы постановили просить в Петербурге назначения в княжество русских министров — внутренних дел и военного [10, с. 729]. Таким образом, болгарские правящие круги рассчитывали поправить положение с помощью очередных министров, за которыми стояла Россия, продолжавшая пользоваться высоким авторитетом среди большинства болгарского населения. Либералы также были убеждены, что «без призыва русского министра, действующего по определенной программе, обойтись в настоящее время едва ли возможно» [6, ф. ГА У—А₂, д. 920, л. 29об. М. А. Хитрово — Н. К. Гирсу, 1 мая 1882 г.]. Здесь надо сделать оговорку, что такое заявление, вероятно, было обусловлено надеждой, что новый министр будет оказывать им поддержку и поддерживавший либералов Хитрово останется в Софии.

15 апреля 1882 г. Александр I выехал из Софии в Петербург. Хитрово в отсутствие князя продолжал заниматься болгарскими делами, но судьба его, равно как и всех русских представителей, вступавших ранее в конфликт с князем, была решена. 7 мая 1882 г. он был отозван из Софии. Оценивая его деятельность следует сказать, что Хитрово своими предложениями по созданию смешанного правительства пытался исправить просчет русского правительства, поддержавшего переворот 1881 г. Но его основная идея о введении в болгарское правительство русского министра была ошибочной, что доказали последующие события. Расценивая же политику Хитрово в «железнодорожном вопросе», необходимо отметить, что она была обречена на неуспех вследствие причин как внутренних, так и международных.

Просьба князя в Петербурге о «приискании» русских кандидатов в болгарские министры в конечном итоге была удовлетворена согласием императора на назначение в правительство двух генералов — Л. Н. Соболева и А. В. Каульбарса.

8 июня 1882 г. Александр I вернулся в Софию, а 23 июня было составлено правительство, где Соболев занял пост председателя совета министров и министра внутренних дел, а Каульбарс стал военным министром. Портфели министров финансов, правосудия, народного просвещения, иностранных дел и исповеданий были распределены между Начовичем, Грековым, Теозаровым, Волковичем. По сути, в этом консервативном правительстве командные посты принадлежали русским генералам.

Особо важная роль в правительстве отводилась Соболеву. Леонид Николаевич Соболев (1844—1913) в 24 года закончил Николаевскую академию Генштаба, работал ряд лет в Главном штабе, отличился в русско-турецкой войне 1877—1878 гг., принимал участие в формировании администрации княжества. С какой программой Соболев ехал в Софию? Надо сказать, что вообще их было две: одна княжеская, другая — самого Соболева. Программа князя, объявленная Соболеву, была в общих чертах такова: «Сохранение полномочий, постройка железной дороги, восстановление сначала энергичными средствами, после — посредством примирения нарушенного мира в стране» с последующим введением «органической окончательной конституции, которая бы заменила оказавшуюся неудовлетворительной Тырновскую конституцию» [11]. Программа Соболева была следующей: «1. Строго стоять на почве законности и права. 2. Не склоняться на сторону ни консерваторов, ни либералов, ибо эти партии не много здесь стоят, да и не существуют в строгом смысле. 3. Не душить прессу, а давать ей высказываться. 4. Воздерживать князя от увлечения чрезвычайными полномочиями и склонять его к конституционному образу правления, добиваясь созыва Народного собрания. 5. Поддерживать, елико возможно, политическую и экономическую связь между Болгарией и Россией, нисколько не нарушая, однако, независимости княжества, которое должно выработаться в самостоятельное, крепкое государство при дружеском содействии России» [12, с. 554—555]. В Программе Соболева необходимо подчеркнуть два момента: во-первых, в ней отчетливо прослеживается близость с политическими установками Хитрово:

во-вторых, ясно видна наивность пункта о политической нейтральности Соболева.

Начало деятельности Соболева обычно связывается историками с принятием нового избирательного закона, в котором более жестко, по сравнению с предыдущим, регламентировалась избирательная система. В частности, почти в четыре раза сокращалось количество депутатов Народного собрания (до 55 человек), предлагалась двухступенная система выборов, избирательный ценз (образовательный или имущественный). Этот закон был подписан Соболевым в июле и утвержден князем в августе 1882 г. Налицо, таким образом, противоречие между заявленным политическим нейтралитетом Соболева и подписанием консервативного закона. Сам Соболев так писал об этом: «Меня умоляли подписать закон. Требовалась подпись русского генерала. Я его подписал, ибо он еще сам по себе, при честном его применении, не мог нанести большого ущерба народу. В законе были и хорошие стороны. Но я заявил, что буду требовать соблюдения закона. Однако при выборах осенью 1882 г. в депутаты III Обыкновенного Народного собрания я был не в силах исполнить своего обещания — и в этом я вижу самый крупный промах, сделанный мною в Болгарии» [10, с. 734].

Но, по нашему мнению, сам Соболев явился активным участником в деле выдвижения закона. Во-первых, Соболев был, вероятно, ознакомлен с одним из последних донесений Хитрово в МИД, в котором развиваются идеи изменения избирательной системы, весьма схожие с заложенными в новом законе [6, ф. ГА У—А₂, д. 920, л. 47об. М. А. Хитрово — Н. К. Гирсу, 2 мая 1882 г.]. Во-вторых, в личном фонде видного консервативного деятеля княжества К. Стоилова имеется письмо его корреспондента, А. Ф. Головина, в котором отмечена прямая причастность Соболева к выдвижению и отстаиванию перед князем указанного закона [13]. Из этого можно заключить, что Соболев был исполнителем воли российского МИД, продолжавшего поддерживать князя и консервативное управление. Поэтому Соболев и был вынужден пойти на нарушение закона, чтобы обеспечить победу консерваторов на выборах. Следовательно, это был не «промах» Соболева, а последовательный, хотя и несколько вынужденный, курс русской политики в княжестве.

Основной целью своей деятельности Соболев считал укрепление русского влияния и создание прочной материальной основы для него. Именно по такому «материальному вопросу» как железнодорожный возникли трения между Соболевым и его партнерами по правительству. Соболев разработал проект строительства железнодорожной сети в основном за счет государства. В частности, для строительства линии София — Дунай предполагалось привлечь деньги резервного фонда в сумме 15 млн франков и ежегодные отчисления из госбюджета (5—6 млн франков), значительная часть которых, как показывала практика, шла на покрытие производительных расходов. Для постройки болгарского отрезка железнодорожной линии Вена — Константинополь планировалось сделать заем в Австрии, как наиболее заинтересованной стороны в этом предприятии. К строительству привлекалась бы компания Гинцбурга. Консерваторы же имели другой план, заключавшийся в получении русской дотации и привлечении частного капитала, в основном болгарского предпринимателя Хаджиенова. Как писал Милюков, «князь и консерваторы находили, что вовсе не дурно, если барыши от построек попадут в болгарский карман Хаджиенова, вместо Полякова и Гинцбурга» [1, с. 38].

Сложная ситуация сложилась и вокруг выкупа у английских концессионеров Русе-Варненской железной дороги. Соболев, подозревая консерваторов в желании получить комиссионные, решительно воспротивился выкупу дороги за 44 млн франков, требуемых уполномоченным владельцем. Сумма же в 35 млн франков, окончательно предложенная Соболевым, не устраивала английского посредника. После предложения им взятки Соболеву переговоры были прерваны. Соболев отмечал, что споры по «железнодорожному вопросу» все больше убеждали его, что консервативная верхушка во главе с князем преследует своекорыстные интересы и даже

стремится вовлечь страну в русло австро-германской политики [10, с. 729, 752].

Трудности разрешения «железнодорожного вопроса» натолкнули Соболева, упорно стремившегося добиться гарантий по обеспечению русского влияния, на идею использовать для этой цели оккупационный долг Болгарии за войну 1877—1878 гг. Долг Болгарского княжества и Восточной Румелии составлял примерно 50 млн франков. Соболев решил добиться утверждения конвенции об уплате причитающихся с княжества 25 млн франков (по данным, приводимым Сказкиным, 28 млн франков). Соболев так писал о своем плане: «Если будет заключена конвенция согласно моему предложению, то Россия будет, в течение 12½ лет получать от Болгарии по 2 000 000 франков в год... Когда Румелия сольется с Болгарией, русское правительство предъявит новое требование на 25 000 000 фр.... Это будет материальная сила в его руках. Силой этой можно воспользоваться с целью укрепить связь Болгарии с Россией. Можно будет учредить в Софии хорошие высшие школы для мальчиков и девочек, и подготовить целое поколение в русском, или, вернее, в общеславянском духе. Можно развить русское и болгарское пароходство по Дунаю и ослабить германизацию на берегах сей реки. Можно, наконец, на эти потребности затратить всего 15 000 000 фр., а остальные 35 000 000 фр. употребить на сооружение флота на Черном море, словом — на создание могущества близ Босфора» [10, с. 737—738].

«Завязывание материальных узелков» лишь усугубило трудности в отношениях между министрами-консерваторами и Соболевым. Взаимное недоверие и подозрительность вызывали конфликтные ситуации. Так, в начале 1883 г. разгорелась борьба между русскими генералами и их партнерами в кабинете министров по «драгунскому вопросу». Суть его заключалась в том, что болгарские министры выдвинули в Народном собрании предложение о ликвидации драгунского корпуса, выполнявшего жандармские функции, и замене его местной полицией под руководством гражданских властей. Консерваторы преследовали двойную цель: добиться популярности среди населения, недовольного жандармерией, и лишить генералов возможности использовать ее в своих целях. Однако Соболев, оказав давление на князя, добился от него распоряжения, согласно которому совету министров предписывалось «сохранение жандармерии в том виде, в каком она существует ныне» [10, с. 714]. Консерваторам была сделана лишь небольшая уступка в отношении пеших жандармов, на содержание которых не выделялись средства.

Жесткая, если не диктаторская, политика Соболева неминуемо должна была привести к новому столкновению с болгарскими министрами. По странному стечению обстоятельств, как пишет Соболев в своих воспоминаниях, 24 февраля 1883 г. — в день урегулирования «драгунского вопроса» — возник другой, связанный с высылкой из Софии по распоряжению Синода митрополита Мелетия. Принудительный отъезд митрополита, поддерживавшего Соболева, устроили консерваторы вместе с митрополитом Григорием, занявшим место Мелетия в столице. В сущности это была не антирусская, а антисоболевская акция, возможно, своего рода месть за неудачу в «драгунском вопросе». Попытка Соболева защитить Мелетия провалилась: несмотря на его приказ задержать высылку, министр иностранных дел и исповеданий К. Стойлов поспешил с жандармами отправить Мелетия из Софии.

Вспыхнувший конфликт осложнялся прямолинейной политикой генералов, которые под угрозой отставки вынудили князя на вывод Стоилова из правительства. 28 февраля Стойлов вышел в отставку, вместе с ним оставили свои посты Греков и Начович, заявив тем самым протест против вмешательства Соболева в церковные дела. Правительственный кризис, вызванный «генеральской» политикой, продлился недолго. 3 марта состав кабинета был обновлен в соответствии с политикой Соболева. Главой министерства строительства, земледелия и торговли был назначен князь Хилков (будущий министр путей сообщения России), что должно было обеспечить для Соболева приемлемое разрешение «железнодорожного во-

проса». В МИД был назначен К. Цанков, министерство финансов — передано Соболевым А. Бурмову. Как Цанков, так и Бурмов получили определенную поддержку либералов, с удовлетворением встретивших известие об отставке триумvirата Стойлов — Греков — Начович.

Говоря об обновленном правительстве, следует подчеркнуть два момента: во-первых, его переходной характер, проявившийся в том, что новые его члены были утверждены князем лишь в должности управляющих министерствами, во-вторых, после устранения триумvirата влияние генералов еще более укреплялось. Как писал Соболев, власть они «намеревались передать в руки народной партии, понимавшей необходимость идти вместе с Россией, а не оставлять ее в руках партии, желавшей обратить Болгарию, подобно Сербии, в провинцию Австрии» [10, с. 729]. (Следует отметить, что навязчивая идея о проавстрийской ориентации княжеско-консервативной коалиции, присутствовавшая в среде русских представителей в княжестве, как дипломатов, так и военных, была, по нашему мнению, преувеличенной.)

Отношение князя к действиям своего премьер-министра было внешне благожелательным. После отставки триумvirата он предлагал Соболеву стать единственным министром княжества, как это практиковалось на родине князя, в Дармштадте. Не исключено, как писал отказавшийся от этого назначения Соболев, что князю хотелось вызвать недовольство болгар и подать повод Европе «кричать об обращении княжества в русскую провинцию» [10, с. 743]. Но возможно и другое истолкование. Ликвидация правительства позволяла бы Александру I не допустить прихода к власти либералов и тем самым выиграть время для проведения задуманных изменений в управлении. В обстановке же фактически расширявшейся власти князя и наличия консервативного Народного собрания и Госсовета Соболев не мог бы эффективно выступать против консервативной политики.

Касаясь триумvirата и его сторонников, следует подчеркнуть, что свои надежды на возвращение к власти они связывали с заключением соглашения с умеренными либералами. Параллельно ими была подготовлена и вручена князю обширная записка от 22 марта 1883 г. Триумvirат подчеркивал в ней, что иностранные генералы «ведут дела в духе, совершенно противном интересам Болгарии», что формируемый альянс между генералами и либералами чреват опасностью для самого князя, который царствует, но не правит. По мнению авторов записки, князь мог упрочить свое положение только путем созыва Народного собрания с постановкой в нем вопроса о ситуации в стране и выходе из кризиса [10, с. 730—732] (фактически же — о целесообразности дальнейшего присутствия русских генералов в правительстве).

Оставляя в стороне риторичность некоторых высказываний в записи («всякий народ предпочитает дурное управление своих хорошему управлению иноземцев, навязанному ему силою», и др. [10, с. 730]), следует сказать, что авторы ее были абсолютно правы в другом. Как писал болгарский историк И. Димитров, «в союзе с либералами генералы видели опору русской политики, либералы — средство для восстановления конституционного режима» [3, с. 161].

В условиях все возрастающей активности либералов, князь решил прибегнуть к испытанному средству и удалить генералов путем непосредственного обращения к императору. (По-видимому, предложение консерваторов использовать Народное собрание для решения этого вопроса казалось ему чреватом опасностью вызвать недовольство в Петербурге). В начале апреля князь выехал из Софии и в мае уже был в Петербурге, где попытался добиться удовлетворения своей просьбы и присылки Эрнота с задачей сохранения полномочий. Однако его миссия встретила ряд трудностей, обусловленных, в частности, приездом в Петербург Соболева. Премьер-министр княжества выступал в правительственных сферах за прекращение полномочий и созыв Великого Народного собрания для пересмотра конституции и утверждения такого основного закона, «который обуздает как чрезмерное народовластие, так и произвол княжеского правительства» [12, с. 583]. Победу в Петербурге одержал Соболев, чьи донесения о кня-

жеско-консервативной коалиции и ее якобы проавстрийской направленности сыграли не последнюю роль в решении императорского правительства прекратить поддержку режима полномочий.

В Софию для урегулирования ситуации был командирован не Эрнрот, а опытный русский дипломат А. С. Ионин. По приезде его в Софию в августе 1883 г. князь узнал от Ионина, что генералы должны будут остаться в стране на определенный срок для обеспечения выборов в Великое Народное собрание. Перспектива дальнейшего присутствия генералов, особенно Соболева, чьи отношения с Александром I были более чем неприязненными, не отвечала интересам последнего, а также интересам консерваторов и умеренных либералов, успевших заключить соглашение о восстановлении конституции. В начале сентября был обнародован манифест о ее восстановлении. После этого акта пребывание генералов в стране становилось излишним. 7 сентября они получили разрешение императора выйти в отставку. Миссия Соболева и Каульбарса была закончена.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Милюков П. Н. Болгарская конституция.— Русское богатство, 1904, № 8/9.
2. Сказкин С. Д. Конец австро-русско-германского союза, 1879—1884. М., 1928.
3. Димитров И. Князът, конституция и народът. София, 1972.
4. Петров М. Българо-руски политически отношения в навечерието и по време на пълномощията.— Исторически преглед, 1981, № 6.
5. Тодорова Ц. Отново за «преврата» през 1881 г. и режима на пълномощията.— В кн.: Известия на българското историческо дружество. София, 1983.
6. АВПР.
7. Карцов Ю. С. Семь лет на Ближнем Востоке. СПб., 1906, с. 140.
8. Български исторически архив при Народната библиотека «Кирил и Методий», ф. 14, а. е. 142, л. 1. Г. Начович — Иванову, 23 сентября 1881 г.
9. Мосолов А. България 1879—1883. Спомени.— Военноисторически сборник, 1936, X, кн. 48, с. 70—71.
10. Соболев Л. Н. К новейшей истории Болгарии: материалы о внутренней политике 1881—1883 гг.— Русская старина, 1886, IX.
11. Марица, 1883, 4 XI, с. 6.
12. Щеглов А. Н. Русское министерство в Болгарии.— Исторический вестник, 1911, XI.
13. ЦДИА, ф. 600, оп. 1. а. е. 547, л. 12. А. Ф. Головин — К. Стоилову, 26 апреля 1883 г.



ФЕРТАЧ СИЛЬВЕСТР

ДВИЖЕНИЕ СЛАВЯНСКОЙ СОЛИДАРНОСТИ И ПОЛЬСКАЯ ЭМИГРАЦИЯ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ ВО ВРЕМЯ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

Движение славянской солидарности против фашизма, стихийно возникшее еще перед войной в защиту лужицких сербов и Чехословацкой республики, после нападения Германии на Польшу и СССР значительно расширилось. 10—11 августа 1941 г. в Москве состоялись первый Всеславянский митинг и собрание представителей общественности славянских народов. 5 октября был создан антифашистский Всеславянский комитет (см. [1, ед. хр. 1, л. 1—2; ед. хр. 32, л. 1; ед. хр. 73, л. 1—2 и др.; 2]), в состав которого вошли представители славянских народов СССР и польской, болгарской, чехословацкой и югославской эмиграции в Советском Союзе. Комитет, как отмечал летом 1943 г. один из его руководящих деятелей Эд. Нееды, стал со временем центром движения славянской солидарности, вокруг которого сосредоточились «...целые национальные коллективы, целые народы» (цит. по: [3]).

Среди основных целей и программных задач, которые поставил перед собой Всеславянский комитет, были: мобилизация и единение всех славян на борьбу с фашизмом с целью полного его уничтожения и восстановления национальной независимости славянских народов и их государственности; разоблачение гитлеровских планов истребления ряда славянских народов и обнародование фактов варварского воплощения гитлеровскими оккупантами этих планов в жизнь; установление связей с иными, действовавшими вне территории СССР славянскими организациями, славянской прессой и славянскими общественными деятелями [1, ед. хр. 1, л. 18, 34 и др.].

«Каждый из нас, — говорилось в обращении Всеславянского комитета в феврале 1943 г., — может и должен помогать укреплению славянского движения, нести в массы славянства правдивое слово о борьбе и страданиях наших братьев под гитлеровским игом, стать организатором действительной помощи нашим братьям» [4, ед. хр. 77, л. 136; 5, 1943, № 3, с. 4]. Речь шла не только об участии в борьбе с оружием в руках или о материальной помощи. Более важными были воздействие через средства массовой информации на население и правительств неславянских стран с целью ускорения открытия второго фронта в Европе и тем самым приближения разгрома фашизма; мобилизация общественного мнения этих стран против изоляционистских тенденций, профашистской и фашистской пропаганды (например, в США, странах Латинской Америки); борьба с реакционными, раскольническими тенденциями. Важным фактором этой деятельности было раскрытие правды о зверствах гитлеровцев на оккупированных территориях и о борьбе с ними. Следует подчеркнуть, что почти все эмигранты из славянских стран подтверждают тот факт, что во время войны население

неславянских государств в преобладающем большинстве не в полной мере осознавало военные усилия славянских народов, масштабы жертв с их стороны, жестокость фашистов на оккупированных славянских территориях. В качестве примера можно привести слова бывшего заместителя министра иностранных дел Польши Ю. Виневича, который во время войны находился в Лондоне: «Долго, очень долго даже наиболее к нам (полякам. — С. Ф.) доброжелательно относящиеся люди не верили в жестокость гитлеровцев, в пытки, массовые аресты, ужасы концентрационных лагерей, газовые камеры... В достоверность всех польских данных о гибели миллионов людей поверили в Великобритании только тогда, когда после высадки западных союзников на Европейский континент военные корреспонденты сами побывали в освобожденных ими концлагерях, когда во всех кинотеатрах шли фильмы, рассказывающие о той судьбе, которую люди готовили людям, немцы — своим противникам, гитлеровцы — всем иначе комыслящим. В кинозалах раздавались крики ужаса и протеста. „Times“ и другие газеты наконец-то имели в своем распоряжении факты, цифры, скелеты, человеческий прах... и свидетельства тех, кто чудом пережил казнь» [6, s. 262]. Один из членов польского эмигрантского Национального совета социалист Ш. Зигельбойм в знак протеста против равнодушия известных английских газет, редакторы которых не хотели верить материалам о массовом истреблении евреев и ликвидации гитлеровцами варшавского гетто, покончил жизнь самоубийством. Как вспоминает один из сотрудников польской радиостанции «Свит», действовавшей в Англии, Т. Коханович, некоторое равнодушие английского общественного мнения и неосведомленность о фактическом положении дел в оккупированных странах были связаны с тем, что лидеры британской пропаганды, мобилизуя общество на борьбу с фашизмом, одновременно считали излишним формировать среди населения чувства ненависти и мести, показывая зверства гитлеровцев [6, s. 262; 7].

Важную роль в пропагандировании идей славянского единства и активизации сил антифашистского фронта могли сыграть славянские группы, особенно в Великобритании и США. Во-первых, именно от этих стран зависело развертывание военных действий на Западном фронте, и, во-вторых, славянская эмиграция там, хотя по своему характеру и существенно различавшаяся, составляла силу, с которой в определенной степени должны были считаться правительства названных стран.

В Великобритании преобладала эмиграция периода войны. Здесь нашли приют государственные учреждения Польши, Югославии, Чехословакии; чиновники, партийные и политические деятели, журналисты, ученые, военные и многие другие вместе с семьями [4, ед. хр. 101, л. 59; 1, ед. хр. 53, л. 21; 8, s. 9]. Настроения и деятельность большинства представителей этой эмиграции определялись политической линией эмигрантских правительств. Большая часть польской эмиграции в Англии, насчитывавшая в 1944 г. приблизительно 250 тыс. человек (в основном военные и их семьи), т. е. наиболее многочисленная среди славянских эмигрантских групп в этой стране, также подчинялась эмигрантскому польскому правительству. «Старая», еще предвоенного периода, польская эмиграция более или менее политически и материально самостоятельная, была невелика — приблизительно 3 тыс. человек [8, s. 9; 9].

Сотрудничество и единство славянских народов в борьбе с фашизмом в значительной степени зависели как от взаимодействия отдельных политических представительств славянских стран, так и от отношений между эмигрантскими правительствами в Лондоне и правительством Советского Союза.

Вопросы взаимоотношений Польши и СССР во время второй мировой войны имеют довольно богатую научную литературу¹. В целом нужно сказать, что независимо от большего или меньшего «потепления» в отношениях двух стран польская сторона с самого начала трактовала их если не конъюнктурно, то во всяком случае и не стремилась преодолеть барьеры, пре-

¹ Из новейших работ см., например [10; 11].

пятствовавшие налаживанию искреннего сотрудничества во время войны и доброжелательного соседства после нее. Барьеры эти определялись не только «традиционными» антирусскими преубеждениями, но были результатом упорного отстаивания польским эмигрантским правительством вопроса о довоенных восточных границах Польши. Неоднократно свое отношение к нему высказывал премьер этого правительства генерал В. Сикорский. Например, в речи к полякам, произнесенной почти на следующий день после подписания польско-советского договора от 30 июля 1941 г., он говорил, что «...не допускает даже и тени сомнения в неприкосновенности границ польского государства от 1 сентября 1939 г.» [12, 1 VIII]. Такая позиция, несмотря на декларации о стремлении к улучшению польско-советских отношений, заранее исключала возможность не только их улучшения, но и сотрудничества в рамках общеславянского антифашистского фронта. Абсолютно не учитывалось и право на самоопределение тех миллионов украинцев и белорусов, земли которых до сентября 1939 г. входили в состав Польского государства.

Некоторые польские националистические группировки, как, например, сосредоточенная вокруг издававшегося в Эдинбурге в 1940—1942 гг. совместно с представителями чешских и словацких националистических кругов (П. Придавок, С. Осуски) «Западнославянского бюллетеня», считали, что восточные славяне еще «не созрели до славянского братства» [13].

Возможностям тесного — в рамках славянского антифашистского фронта — сотрудничества польских правящих эмигрантских кругов с СССР препятствовали также те их концепции послевоенного устройства мира, которые поддерживались почти всеми политическими направлениями польской эмиграции в Великобритании, а также некоторое время президентом Чехословакии Э. Бенешем и югославским королевским эмигрантским правительством. Речь идет о концепциях создания единого блока стран и народов Центральной и Юго-Восточной Европы, первым шагом к которому должна была стать польско-чехословацкая конфедерация. Независимо от количества предлагаемых в разное время и разными политическими кругами вариантов этой федерации, роли, которая отводилась в ее создании Польше и другим славянским народам, эти планы не предполагали участия в ней русских. Еще до нападения Германии на СССР на страницах издаваемой в Лондоне правительственной газеты «Dziennik Polski» в ряде статей, посвященных послевоенному будущему Польши и славянского мира, говорилось, что присоединение России к славянскому миру — это угроза для западной цивилизации со стороны «нового славянского империализма» [12, 1, 18, 25 I, 5 III]. Генерал В. Сикорский неоднократно подчеркивал, что «...Россия, собственно говоря, не является составной частью Европы», что «Польша принадлежит другому миру», а секретарь премьера А. Ромер писал (полемизируя со статьей С. Цата-Мацкевича, считавшего, что Россию можно «принять» в семью славянских народов, если она сбросит коммунистическую власть), что русский панславизм, независимо от того, будет он белым или красным, всегда останется панславизмом [12, 30 I, 1 VIII; 14, 1941, 15 VII].

Эти суждения, кстати, не только польских буржуазных политиков, в отношении угрозы «российского панславизма» отнюдь не исчезли, а наоборот возросли после славянских митингов в Москве и создания Все-славянского комитета. Резко отрицательно против целей и лозунгов, выдвинутых московскими славянскими митингами, выступила санационная («Wiadomości Polskie») и национально-демократическая («Myśl Polska») пресса, обвиняя Советский Союз в разных грехах (панславизм, стремление захватить польские земли, действия Москвы — коммунистическая диверсия под маской славянской солидарности). Она также была против скорого открытия второго фронта в Европе («Myśl Polska») как военной операции, отвечавшей якобы интересам только СССР [4, ед. хр. 77, л. 65, ед. хр. 101, л. 35; 14, 1941, 17 VIII, 1942, 18 IV; 15, 1943, № 47, s. 689—691, 1942, № 24, s. 404, 1942, № 30, s. 486, 1942, № 19, s. 326—327, 331—333].

«Dziennik Polski» поместил в двух номерах довольно обширный отчет

о I Всеславянском митинге, но воздержался от комментариев [12, 11, 14 VIII]. Но наиболее откровенный ответ на вопрос о действительном отношении польских эмигрантских правящих кругов к идее солидарности всех славянских народов, в том числе и Советского Союза, дал В. Сикорский 12 января 1942 г. на заседании правительства. Отчитываясь о поездке в СССР в декабре 1941 г., он, в частности, сказал: «Кроме проблемы границ, могут в будущем появиться и другие поводы для нашего конфликта с Россией. Одним из них может быть российский панславизм. <...> Белый или красный — он представляет собой опасность для нас и для западных славян. Поэтому мы должны предостеречь наших беженцев и солдат в России и пробовать договориться на западе с Чехословакией и Югославией. Я не сомневаюсь, что Великобритания, США и другие союзники поймут наши проблемы и значимость того, что является важным также и для них самих, то есть опасность панславистских тенденций. Польско-советская граница должна быть такой, какой была веками — границей Запада и христианской цивилизации» [16].

Надо подчеркнуть, что от такого рода суждений не были свободны и другие буржуазные политики славянских стран. С полным одобрением лондонская эмиграция встретила отказ югославского посла в СССР М. Гавриловича участвовать в I Всеславянском митинге [17]. Несмотря на возраставшую критику политики Э. Бенеша демократическими чехословацкими эмиграционными кругами, президент Чехословакии и его сторонники продолжали вести переговоры с польскими политиками о польско-чехословацкой конфедерации, направленной, по существу, как против Германии, так и против СССР.

Были еще два вопроса, связанные с деятельностью и программой Всеславянского комитета, которые несомненно шли вразрез с планами и деятельностью буржуазных политиков славянских стран. Первый был связан с необходимостью развертывания массовой вооруженной борьбы на оккупированных славянских территориях [4, ед. хр. 77, л. 65, 72; 14, 1942, 17 VIII]. Эмигрантские правительства придерживались выработанной еще в начале войны английским комитетом планирования войны теории, которая допускала лишь некоторые формы сопротивления оккупантам (диверсии, саботаж), отвергая развертывание массовой вооруженной борьбы, нацеливала на сохранение основных сил для одного всеобщего вооруженного восстания против оккупантов во время приближения армии союзников (Великобритании) к границам той или иной оккупированной страны (см. [18]). Конкретно эти установки в польских условиях дополнялись теорией «двух врагов» (Германии и СССР), в Чехословакии — бенешевским лозунгом «зимовки», в Югославии — действиями четников Д. Михайловича.

Вторая проблема заключалась в том, что буржуазные политики опасались (это давали понять и В. Сикорский, и Э. Бенеш, и буржуазная пресса), что деятельность Всеславянского комитета может стать одним из каналов распространения коммунистической идеологии в массах и повести к созданию коммунистических режимов (подробнее см. [16; 19; 15, 1943, № 47, с. 681—691].

После перерыва в советско-польских отношениях (апрель 1943 г.), смерти В. Сикорского, активизации правых сил в польских эмигрантских кругах и заметного сдвига вправо в политике польского правительства, со стороны как польской прессы, так и официальных кругов усилилась антисоветская кампания, направленная и против Всеславянского комитета и польских демократических деятелей в Советском Союзе [4, ед. хр. 101, л. 35]. Было очевидно также, что в польской правящей коалиции нет сил, которые могли бы противостоять этой политике. Такой силы не имели реалистически мыслящие, с симпатией относившиеся к советскому народу отдельные политики (С. Грабски, Т. Ромер, генерал Л. Желиговский и др.).

Иная ситуация существовала среди чехословацких политических деятелей. Демократические силы в чехословацких эмигрантских государственных учреждениях (И. Давид, Г. Рипка, П. Парса, В. Клементис и др.), силы, сосредоточенные вокруг журнала «Mladé Československo»

(с начала 1943 г. — «Nové Československo»), славянофильские и русофильские настроения большинства населения в стране привели к переориентации руководимого буржуазными политическими деятелями национально-освободительного движения на Советский Союз и заключению в декабре 1943 г. в Москве советско-чехословацкого договора о дружбе, взаимной помощи и послевоенном сотрудничестве. Бенеш и его сторонники в 1943 г. отказались от участия в переговорах о среднеевропейской федерации. С февраля того же года по инициативе Бенеша началось формирование Чехословацкого комитета славянской солидарности, объявившего себя филиалом Всеславянского комитета в Москве. Комитет возглавил председатель Государственного совета Чехословакии П. Макса [1, ед. хр. 53, л. 21; 4, ед. хр. 101, л. 60; 5, 1943, № 3, с. 41].

Победы народно-освободительных сил под руководством КПЮ в борьбе с оккупантами и в укреплении союза славянских народов Югославии, поддержка И. Тито и И. Рибару на VI Пленуме Всеславянского комитета (октябрь 1943 г.) сыграли существенную роль в консолидации югославских эмигрантов, несогласных с великосербской политикой королевского правительства и действиями четников Д. Михайловича. В конце 1943 г. были созданы четыре демократические организации южных славян, которые сразу наладили связи со Всеславянским комитетом в Москве, а затем Объединенный комитет южных славян, который возглавил бывший министр образования королевского правительства Б. Фурлан [1, ед. хр. 54, л. 15; 5, 1944, № 1, с. 43—44].

В условиях польской эмиграции решительно противостоят политике польского правительства могли только люди, не связанные с создавшими его политическими партиями и группировками. Это были рабочие и представители интеллигенции, эмигрировавшие до войны, члены Общества бывших бойцов интербригад в Испании, Союза моряков, т. е. тех организаций, где действовали небольшие коммунистические группы, левые социалисты и людовцы.

Именно из рядов этой части польской эмиграции, почти сразу же после переезда правительства в 1940 г. из Франции в Великобританию, раздались первые критические замечания в его адрес. Члены старейшей польской организации в Англии — основанного в 1886 г. Польского общества и конкретно член правления и председатель комиссии культуры общества левый социалист Э. Пуач критиковали как сами структуры польских эмигрантских государственных учреждений, не отвечавших, по их мнению, военному времени, и нарушения в их деятельности (особенно это касалось Министерства труда и социального обеспечения и Министерства информации), так и внешнюю политику правительства (планы среднеевропейской конфедерации и польско-советские отношения) (см. [20]). После заметного сдвига вправо в политике польского правительства в 1943 г., 14 декабря под руководством Э. Пуача был образован Польский прогрессивный союз (встречается также название Польский прогрессивный клуб) — наиболее влиятельная антиправительственная польская организация в Великобритании, выражавшая мнение нескольких сот членов Польского общества и членов лондонского отделения Польской социалистической партии. Эта организация имела свои филиалы в нескольких городах Англии и Шотландии. Союз отказался поддерживать эмигрантское правительство и заявил, что признает законным то правительство, которое будет создано в стране по воле большинства народа. Польский прогрессивный союз являлся демократической организацией, сплавившей людей различных политических взглядов, единодушных в том, что безопасность Польши зависит от ее сотрудничества со славянскими соседями и СССР, которое предполагает существование демократической Польши. Союз одобрил и поддержал образование Польского комитета национального освобождения, Манифест ПКНО от 22 июля 1944 г. и в дальнейшем преобразование ПКНО во Временное правительство [5, 1944, № 2, с. 46—47, 1944, № 8, с. 10, 1945, № 1, с. 41; 21]. Хотя Польский прогрессивный союз имел связь как со Всеславянским комитетом в Москве, так и с Союзом польских патриотов в СССР (распространяя журналы СПП «Wolna Polska» и «Nowe

Widnokreği»), однако постоянного тесного сотрудничества между этими организациями не установилось.

К этому стала стремиться сразу же после своего образования группа «Jedność i Czyn» («Единство и действие»), которую создали в 1942 г. бывшие участники гражданской войны в Испании и бывшие члены Коммунистической партии Польши (К. Лаптер, В. Кутнер, Х. Р. Геллер, Ю. Катз-Сухи, В. Виха и др.), переехавшие в начале 1939 г. в Великобританию из Чехословакии (подробнее см. [22, t. 2, к. 1—6; 23, t. 26, к. 7—9; 24, к. 1—5]). В августе 1942 г. эта группа издала однодневку «Jedność i Czyn». Во вступительной статье-заявлении говорилось о необходимости решительной борьбы за осуществление лозунга «Единство народа, единство славян и единство всего демократического мира». Чтобы добиться его осуществления, говорилось в заявлении, надо вести борьбу с реакционными фашистскими силами среди польской эмиграции во имя Польши, крепкой искренней и честной дружбы со всеми миролюбивыми народами, особенно славянскими соседями в СССР, сильной действительной свободой своих сынов [25]. Были также опубликованы материалы о необходимости открытия второго фронта в Европе, о национально-освободительных традициях польского народа, о единстве славянских народов в борьбе с фашизмом, польско-советских и польско-чехословацких отношениях. Публикация вызвала интерес польского общества.

В ноябре 1942 г. вышел в свет первый номер журнала-ревю также под названием «Jedność i Czyn», в котором были помещены приветствие советскому народу в связи с праздником годовщины Октябрьской революции, статьи на актуальные темы (в частности, В. Василевской и И. Эренбурга), обзоры прессы и т. п. [26]. Издание журнала было прервано из-за запрета англичан (под нажимом польского правительства), мотивированного недостатком бумаги. В дальнейшем группа, реорганизованная уже в Польское демократическое движение «Единство и действие», пыталась выразить свои позиции на страницах издававшихся в 1943 г. газет «Listy do Przyjaciół» и «Trybuna Polska», преобразованной в 1944 г. в «Głos Polski». Но и эти попытки не увенчались успехом. В августе 1944 г. в размноженном на стеклографе бюллетене «Jedność i Czyn» Польское демократическое движение приветствовало образование на освобожденной территории Польши Польского комитета национального освобождения, усматривая в этом «решительный шаг к осуществлению полного национального объединения поляков для восстановления независимой, опирающейся на прочные демократические основы Польши» [27, s. 10].

С момента образования «Единство и действие» наладило тесные отношения со Всеславянским комитетом в Москве, издавало отчеты о московских славянских митингах и статьи польских демократов в СССР, поддерживало связь с другими славянскими организациями в Великобритании, но непосредственно не участвовало в создании объединенного славянского комитета в этой стране. Вероятно, сообщалось в отчете о деятельности Всеславянского комитета в Москве, образованию общеславянской организации в Великобритании долгое время мешали разного рода трения между чехами, югославами и поляками [4, ед. хр. 101, л. 53]. Кроме того, движение «Единство и действие» до 1944 г. действовало практически в подполье, не выявляя своего коммунистического характера, считаясь с возможностью репрессий со стороны официальных польских эмиграционных учреждений и зная антикоммунистические настроения большинства польских эмигрантов в Великобритании [22, t. 2, к. 4, 25; 24, к. 6—7]. Наконец, прежде чем приступить к созданию общеславянского комитета надо было образовать польский славянский комитет, который бы возглавили люди, не связанные явно с коммунистическим движением.

Обстановка изменилась в начале 1944 г., после конференций в Москве и Тегеране и накануне решающих боев Красной Армии за освобождение славянских стран. Тогда в Лондоне, при непосредственном участии руководства движения «Единство и действие» (именовавшего себя с 1944 г. Польской рабочей партией в Великобритании), был образован Польско-

славянский комитет, который возглавил людовец, в будущем неофициальный представитель Польского комитета национального освобождения в Англии, юрист С. Вилановский. Кроме него в состав правления вошли кадровый офицер торгового флота Я. Ягодзинский и член правления Союза моряков М. Коханьчик [23, т. 26, к. 8; 24, к. 21—22; 28, с. 5—6].

Образование польско-славянского комитета и установление им сотрудничества с другими славянскими организациями сделало возможным создание на территории Великобритании общеславянской организации — Всеславянского комитета, председателем которого был избран П. Макса. В обращении Всеславянского комитета в Лондоне говорилось, в частности, что приближается час освобождения славян и решающих боев и чтобы «...не оставаться позади, чтобы участвовать в создающемся славянском союзе, славяне, которых судьба забросила на Британские острова, образовали Всеславянский комитет, поскольку только братский союз славянских народов может освободить их от германского ига. Объединились здесь поляки, чехи, словаки, югославы, болгары, украинцы, белорусы и русские. Одна-единственная проблема является нашей заботой — как сегодня сделать прочным кровью скрепленный славянский союз, чтобы уже никогда не повторились ошибки и несчастья прошлого» [22, т. 6, к. 1; 28, с. 6]. На состоявшейся 25 мая 1944 г. в Лондоне Всеславянской конференции прогрессивная славянская эмиграция в Великобритании единогласно призвала своих братьев на родине, чтобы накануне решительных боев за освобождение они всемерно помогали Красной Армии в окончательном разгроме фашистских оккупантов [1, ед. хр. 51, л. 29—31; 5, 1944, № 6, с. 42—43].

В заключение необходимо сказать, что слабость польских демократических сил в Великобритании объяснялась прежде всего тем, что они находились вне существовавших официальных польских институтов и были не в состоянии нейтрализовать деятельность реакционных кругов в польском эмигрантском правительстве. Далее, существовало много разрозненных демократических организаций, которые поддержали программу Польского комитета национального освобождения. Но эти группы и организации, хотя их программы существенно не отличались, не смогли сплотиться в единую серьезную силу. В конце 1944 г. и в начале 1945 г. представители нескольких организаций («Единства и действия», Польского объединения, польской секции Общества бывших бойцов интербригад в Испании, Польского общества в Лондоне, Польского прогрессивного союза) пробовали создать в Лондоне Польский совет демократического единства, но дискуссии в основном вращались вокруг организационных вопросов [22, т. 1, к. 1—13]. Быть может, причиной этого явилось отсутствие в Лондоне, в частности в 1944—1945 гг., ответственного представителя Союза польских патриотов или ПКНО, который мог бы дать им информацию о том, что происходит в стране и руководить созданием сильной демократической, независимой от правительства организации на основе единой программы. СПП намеревался послать в Великобританию В. Гроша, но по неизвестным причинам дело до этого не дошло [6, с. 302—303]. Наконец, важно и то, что существовавшие в Великобритании польские коммунистические группы были слабы и слишком склонны к левому сектантству, в силу чего с большим недоверием относились к людям, не принадлежавшим их среде.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. ЦГАОР, ф. 6646, оп. 1.
2. Кириллов А. В. Роль Всеславянского комитета в организации борьбы славянских народов против германского фашизма. — Дис. на соискание уч. ст. канд. ист. наук. Вологда, 1975; Валев Л. Б., Марьина В. В., Славин Г. М. Всеславянский комитет и освободительное движение зарубежных славянских народов в период второй мировой войны. — История, литература, этнография и фольклор славянских народов. VII Международный съезд славистов. Варшава, август 1973. Доклады советской делегации. М., 1973, с. 73—91; Куян М. В. Діяльність Всеслав'янського комітету по згуртуванню антифашистських сил (1941—1945 рр.) — Український історичний журнал 1970. № 7, с. 61—68; Hrozičnik J. Všeslovanský výbor v

- Moskve.— Slovanský Přehled, 1967, № 6, s. 321—330; *Pawłowicz J.* Problematyka i kierunki prac Komitetu Wszechsłowiańskiego w Moskwie w latach II wojny światowej.— In: Z polskich studiów slawistycznych. Seria 3. Historia. Warszawa, 1968, s. 265—275.
3. Эдзек Неудлы — выдающийся общественный деятель и ученый. / Отв. ред. С. И. Прасолов. М., 1964. с. 149.
 4. ЦГАОР, ф. 8581, оп. 1.
 5. Славяне.
 6. *Winiewicz J.* Co pamiętam z długiej drogi życia. Poznań, 1985.
 7. *Kochanowicz T.* Na wojennej emigracji. Warszawa, 1975, s. 108—109.
 8. *Kietczewska-Zaleska M., Bonasewicz A.* Rozmieszczenie Polaków za granicą.— In: Problemy Polonii Zagranicznej, t. 1. Warszawa, 1960, s. 9.
 9. *Szajkowski B., Sulik B.* Polacy w W. Brytanii. Paryż, 1961, s. 375.
 10. *Парсаданова В. С.* Советско-польские отношения в годы Великой Отечественной войны 1941—1945. М., 1982.
 11. *Ślusarczyk J.* Polityka rządu generała W. Sikorskiego wobec ZSRR. Warszawa, 1985.
 12. Dziennik Polski (Londyn), 1941.
 13. Biuletyn Zachodnio-Słowiański. Zapado-Slovansky Vestnik. West-Slavonik Bulletin (Edinburgh), 1940, № 1, s. 5; 1941, № 4/5, s. 31.
 14. Wiadomości Polskie (Londyn).
 15. Myśl Polska (Londyn).
 16. Documents on Polish-Soviet Relations. 1939—1945. V. 1, 1939—1943. London, 1961, p. 265.
 17. *Славин Г. М.* Об откликах в СССР на восстание в Югославии (1941 г.) — Советское славяноведение, 1972, № 4, с. 25.
 18. *Зеленин В. В.* Начало Великой Отечественной войны Советского Союза и развертывание движения сопротивления в оккупированных странах Юго-Восточной Европы.— В кн.: Балканские исследования. Проблемы истории и культуры. М., 1976, с. 155—156.
 19. *Beneš E.* Úvahy o slovanství. Hlavní problémy slovanské politiky. London, 1944, s. 194—197.
 20. Kongres Polaków w W. Brytanii. Londyn, 1942, s. 13—16; *Puacz E.* Polska na Obczyźnie. Londyn, 1941; *Puacz E.* Satyry polityczne. Londyn, 1942; *Puacz E.* Nasi opiekunowie. Londyn, 1942; *Puacz E.* Stosunki polsko-sowieckie, Londyn, 1943; Nowa Kronika Polska (Londyn), 1943, № 1.
 21. Kronika Tygodniowa (Toronto), 1944, 19 II; 23 IX; Kronika Londyńska. Miesięczny dodatek do Kroniki Tygodniowej (Toronto), 1944, grudzień.
 22. Centralne Archiwum KC PZPR. (CA KC PZPR). Zesp. 345.
 23. CA KC PZPR. Zesp. 216.
 24. CA KC PZPR. Relacja K. Laptera, T. osob. 3440/2.
 25. Jedność i Czyn. Jednodniówka literacko-polityczna (Londyn), 1942, sierpień, s. 1—2.
 26. Jedność i Czyn. Unity and Action. Przegląd Literacko-Polityczny (Londyn), 1942, z. 1.
 27. Jedność i Czyn. Biuletyn (Londyn), 1944, sierpień.
 28. Słowianin. Polski Komitet Słowiański w Londynie. Londyn, 1944.



К ПРОБЛЕМАТИКЕ МЕЖСЛАВЯНСКИХ ЛИТЕРАТУРНЫХ СВЯЗЕЙ РУБЕЖА ВЕКОВ

К проблематике межславянских литературных связей я подойду несколько с иной точки зрения, чем это обычно принято. Создавая очерк связей, я стремлюсь не к созданию истории славянских литератур, а к уточнению картины чешской литературы на фоне других национальных литератур на рубеже веков¹.

Чешская поэзия в этот период очень разнородна. Наряду с поэзией, в которой сохраняются идейно-тематические элементы, отвечающие художественным стремлениям, возникшим из разочарований после 1848 г. (так называемое руховско-люмировское течение), существует упадочническая поэзия конца века, поэзия декадентская, импрессионистическая и символистическая. В то же время возникает поэзия натурализма, витализма, цивилизма, ищущая красоту в жизни и для жизни. Представлена и пролетарская поэзия. В связи с осознанием ценности чешской поэзии рубежа веков возникает несколько вопросов. Присутствуют ли названные направления также и в остальных славянских литературах? Если да, то каковы их различия и сходства? В чем состоит национальная специфика отдельных литератур и в чем наднациональный контекст? Попытаемся ответить на эти вопросы при помощи типологического исследования. Основной сопоставления будет мотив² родины, народа в его конкретном историческом содержании³.

В 1885 г. вышли «Песни раба» С. Чеха. Сборник построен на одном основном образе, повторяющемся в различных вариантах. Это образ раба, бунтующего против национального и социального угнетения. Чех воссоздает образ фантастической, неизвестной экзотической страны, где поработенный народ тяжело трудится на своих угнетателей, горько жалуется на угнетение и вместе с тем вынашивает революционный протест, готовится к возмездию.

Успех произведения Чеха вызван не образом раба, с которым читатель встречался у самых разных поэтов уже с шестидесятых годов, но

Бастлова Зденка — доцент кафедры чешской и словацкой литературы Карлова университета.

¹ И. Магнушевский в статье «Размышления о проблемах сравнительного изучения чешской и польской литературы» отметил, что основной недостаток сопоставительного изучения с обобщениями мы чувствуем в отношении XX в., чей «исток — в девяностых годах прошлого века» [1].

² Исходным является требование М. Б. Храпченко, «чтобы основой типологических сравнений стали специфически литературные, и при этом не локальные признаки, необходимо ориентироваться на черты и особенности структурного характера» [2].

³ Мотив родины, народа был выбран потому, что с ним мы встречаемся не только в чешской поэзии рубежа веков, но также в поэзии других европейских народов, и что его конкретное историческое содержание явно отражает аналогии и различия, вызванные как «специфическими литературными закономерностями», так и «психологическим складом художника», а прежде всего «всеобщей взаимностью европейского мышления, обусловленной сходством общего исторического развития» [3].

тем, что этот старый образ наполнялся новым содержанием. В общественной обстановке того времени интересы рабочего класса становились национальными интересами. Социальная неопределенность понятия «раб» и «рабовладелец» позволила рабочим воспринять песни Чеха как выражение своей борьбы за освобождение человека от социального гнета, а тем самым за освобождение всего народа [4].

Существует ли мотив народа, чья судьба сравнивается с судьбой раба, народа в оковах и в остальных славянских литературах? В поэзии М. Конопницкой, вынужденной покинуть Варшаву в 1890 г., чтобы избежать преследования царизма за радикализм ее стихов, в песнях о национальном освобождении польского народа также звучит мотив «народа в оковах» и «раба» (сб. «*Damnata*», 1900, «*Ludziom i chwilom*», 1905). В ее стихах передано биение сердца крестьянина. Тяжесть его страданий она чаще всего выражает в форме молитвы. Ее поэма «Пан Бальцер в Бразилии» (1910)⁴ отражает процесс возрождения нации в организованной революционной борьбе народных масс. Протест крестьян за границей она оценила — под влиянием революции 1905—1907 гг. — как законный акт: «Рабы переросли своих учителей и требуют у судьбы ответа». Со всем этим связано и приятие ее поэзии пролетариатом, несмотря на то, что она была далека от его идеологии⁵. Идеинная общность Конопницкой и Чеха не исключает индивидуальных и особенных явлений. В поэзии Конопницкой речь идет не только об антигабсбургском, но и антицарском национальном сознании, о национальном единстве поляков.

Компаративистическую связь между Чехом и А. Ашкерцем отмечал уже Ф. Вольман. Для Ашкерца как и для А. Гарамбашича⁶ и других представителей австро-венгерской югославянской страны идея национального освобождения остается одной из главных черт их творчества. Ашкерц в своих стихах (сб. «*Lirske in epske poezije*», 1896; «*Balady in romancu*», 1890; «*Cetrtri zbornik poezije*», 1904) призывает словенский народ к борьбе за национальную свободу, также обращаясь к образу раба, освобождения из оков. Он способствует укреплению национального самосознания, создавая балладные обработки героических сюжетов из древней словенской истории. Он верит в приближение нового времени, но, в отличие от Чеха и Конопницкой, убежден, что оно придет не революционным путем, но бескровно — путем духовной борьбы. К этой мысли он пришел, изучая индийскую философию. В соответствии с этой идеей он создает образ духовных «ханджаров» часто в индийских параболах.

Несмотря на различия, в творчестве С. Чеха, М. Конопницкой, А. Ашкерца обнаруживается и сходство, вытекающее из того, что народы, к которым они принадлежали, не получили государственной самостоятельности, и эти поэты воспринимали родину, народ с национально-освободительных позиций. А какое историческое содержание вкладывается в понятие народа у поэтов, чья нация не была подчинена другой нации (русские) или обрела национальную независимость (болгары)?

«Песни раба» Чеха во многом напоминает стихотворение «Хадерал» К. Величкова, которое поэт опубликовал (в «Прогрессе» в 1895 г. под псевдонимом П. Минев) после возвращения на родину [5]. В образе черных рабов и их восстания против белых рабовладельцев отразилось положение болгарского народа во времена правления Ст. Стамболова, врага Величкова. Аллегорическое изображение действительности позволило поэту поднять специфически национальный образ до уровня общечеловеческого. В «Цареградских сонетах» (1895) мотив народа, родины соткан из тоски поэта по родине, горя изгнанника и из осознания, что многие предали прогрессивные традиции. Несмотря на это у него сохраняется надежда, что в родной стране остались и верные идеям национального освобождения⁷. В поэзии И. Вазова, который во времена правления Стам-

⁴ Отдельные части публиковались в журналах уже с 1892 г.

⁵ Ср. отклик на ее поэзию в журнале социал-демократии Королевства Польского и Литвы «*Miot*», газете «*Délnické Listy*» чехословацкой социал-демократии.

⁶ А. Гарамбашич (1861—1911) обнаруживает типологические схождения со С. Чехом, чьи «Песни раба» он перевел (сб. «Слободарка»),

⁷ См., например, стихотворение Величкова «Родина!» из «Цареградских сонетов».

болова жил в Болгарии, также присутствует идея болгарского национального возрождения и горечь понимания, что такие ценности, как любовь к родине, тяга к труду, уважение к народу, утрачиваются, вытесняясь денежными интересами.

У русских поэтов, которые являются представителями уходящей эпохи, связанной с пробуждением национального движения, охватившего крестьянство как наиболее многочисленный и наиболее «тяжелый на подъем» слой населения [6, с. 264], сильнее всего звучат пессимизм и меланхолия. Стихи П. Ф. Якубовича (сб. «Стихотворения», 1910) отражают жизнеощущения революционного народничества, осознание того, что народническое движение разгромлено. Но несмотря на это его стихи не являются выражением разочарования, хотя их метафорика и отмечена тюремным колоритом. Они проникнуты верой в наступление нового, более счастливого времени. После революции 1905—1907 гг. у него усиливается поэтическое видение, которое позволяет ему избежать противоречий на земле. В созвездии Орион он находит мир без войн, ибо там правит иная красота, а не жестокая борьба народов, идея силы и рабства [7].

Выход из разочарования, отчаяния по поводу общественной ситуации также видит в бегстве в мир чистого искусства А. А. Фет. Сборник «Вечерние огни» (1891) созвучен представлению поэта о том, что «искусство не должно заниматься ничем кроме красоты», пребывающей в покое. В его «чистом искусстве» ощутима попытка сохранения аристократически-возвышенного образа жизни.

В творчестве русских поэтов, чье мировоззрение связано с общественными тенденциями 70-х и 80-х годов, национальная идея присутствует как бы имплицитно. Россия как централизованное государство выдвинула на первый план не национально-освободительные идеи, но идеи, касающиеся преобразования национального общества, подобно тому, как это было во Франции (ср. [8]). Чувство усталости и разочарования от разгрома народнического движения и ощущение, что остается лишь мир красоты и искусства, удивительно созвучно разочарованию Бодлера в революции 1848 г. и его обращению к миру Зла в поисках Красоты.

Если вспомнить, как Шальда оценивает избранные стихи из «Цветов зла» Ш. Бодлера в переводе Я. Врхлицкого и Й. Голла, усматривая причину плохого перевода на чешский в полном непонимании Врхлицким бодлеровской картины мира, и оценку А. В. Луначарским соответствующего перевода Якубовича, где, в частности, отмечается и безупречное понимание переживаний Бодлера и поэтических образов, то получит подтверждение наш вывод, что эти внутренние различия между чешскими и русскими поэтами отражают различия в общественном развитии.

Если, учитывая названные сходства и различия, мы перейдем к выводам, то станет очевидно, что на рубеже веков в славянских литературах значительное место занимает поэзия, по-прежнему связанная с социальной структурой, на основе которой формировались современные нации и в которой значительную роль играла деревня, отношение к земле, обусловленное опасениями перед уничтожающим воздействием капитализма. В чешской поэзии, как и в поэзии народов, не получивших государственной самостоятельности и оставшихся под игом иноземного владычества, мотив народа по своему характеру сближается с темой национально-освободительной борьбы, в то время как у болгар мотив народа и родины, связанный с национальными традициями, начинает выдвигаться как идеал возрождения, противопоставленный идее эксплуатации и денег, в русской поэзии он присутствует имплицитно как выражение преобразования общества (П. Ф. Якубович) или сохранения общественного состояния (А. А. Фет). Хотя поэзия этих творцов и отражает кризис общества на рубеже веков, она не постигает основных черт его развития. Она не становится частицей высшей формы жизни национального общества на том этапе, когда происходит прорыв национальных границ и наступает эпоха «с сильно развитым антагонизмом пролетариата и буржуазии» [6, с. 264].

Новые черты жизни отражает творчество так называемых современных

поэтов. Чешские художники слова сформулировали свою программу в манифесте Чешской модерна: ⁸ «Мы совсем не акцентируем свою чешскость: будь сам собой и ты будешь чешским... Мы не знаем национальных карт». Они отрицают националистическую политику старочехов и младочехов и подчеркивают создание наднационального контекста: «Мы осуждаем также политические партии, которые на пользу правительствам подогревают национальный вопрос и тем самым убивают лучшие силы народа. Мы будем стремиться к взаимопониманию с нашими немецкими земляками; не за зеленым столом, не путем дипломатического объединения в парламентах — но взаимопонимания в области гуманности и желудка» [9].

Аналогичные программные мысли нового польского поколения высказал А. Горский в статьях, озаглавленных «Молодая Польша» ⁹. Наряду с обвинением писателей старшего поколения в недостатке патриотизма, трусости, лицемерии и «придворной феодально-львовско-венской политике», он подчеркивает значение отдельных личностей. Горский отвергает упреки в невнимании к национальному. Он пишет: «Мы требуем от искусства, чтобы оно было польским, ибо если оно утратит национальное, оно утратит силу, ценность и основу своего существования... и если мы обращаемся к западу, то делаем это так, как и другие народы: мы берем из их литературы то, что может быть нам полезно, а то, что нам чуждо и вредно, мы отвергаем...» [11].

Созданию наднационального контекста, в основе которого лежал индивидуализм, в регионе австро-венгерской короны способствовал журнал «Die Zeit», прежде всего один из его редакторов и организаторов — Г. Бар, представитель Венской модерна [12]. Г. Бар опубликовал здесь манифест «Чешская модерна» и информировал о «Молодой Польше», печатал стихи словенских студентов в Вене И. Цанкара и О. Жупанчича. Представителей группы «Молодые венцы», Чешская модерна, Молодая Польша и словенцев Цанкара и Жупанчича объединяло ощущение кризиса, конца, хотя и различного в конкретных национальных условиях, и поиски выхода, который они видели в наднациональном объединении человечества.

Стремление создать новое наднациональное единство, отвечающее новым общественным и художественным потребностям, вело их не только к сотрудничеству с австрийским и немецким модерном, но также к знакомству с аналогичными тенденциями во всех остальных европейских литературах. Помимо французской, они уделяли внимание датской, шведской и норвежской литературам, которые представлялись им и свидетельством присутствия малых литератур в европейском контексте.

Нашли ли подобные заявления чешских и польских модернистов свое соответствующее отражение и в творчестве? Уже при первом ознакомлении заметно, что общим признаком здесь является лиризм, сопряженный с декадентской, импрессионистической и символической поэтикой, запечатлевающей мимолетные настроения, впечатления и чувства сиюминутного внутреннего состояния личности.

Поэзия Тетмайера (сб. «Poezje», t. I—VII, 1891—1924) перекликается с поэзией Й. Карасека из Львовиц, Й. Главачека и «Тщетой» Дыка. К. Пшерва-Тетмайер увековечил в декадентской, импрессионистической лирике пессимистические и меланхолические переживания поколения, считавшего себя потерянными. Его лирическому «я» были скорее безразличны такие ценности как родина, народ, он выражал ощущение краха буржуазных нравственных и художественных идеалов.

Поэтическое творчество Т. Мичиньского (сб. «W mroku gwiazd», 1902; «Do źródeł duszy polskiej», 1906), строителя небесных башен, и Я. Каспровича (сб. «Chrystus», 1890; «Anima Lachrimans», 1894; «Miłość», 1894; «Krzak dzikiej róży», 1898), выражающее в символических образах тоску

⁸ Манифест Чешской модерна подписали: Ф. В. Крейчи, Ф. Кс. Шальда, Я. Тржебицки, О. Бржезина, Й. С. Махар, Й. В. Мрштик, А. Сова, К. Шлейгар, В. Ход, К. Кернер, Й. Пелцл, Ф. Соукуп.

⁹ Статьи в журнале «Zycie» подписаны псевдонимом Квазимодо (ср. [10]).

по абсолюту и мечты о вечности, напоминают таинственный мир космических далей Бржезины, который призван послужить основой для обновления человечества.

Поэзию польского модернизма отличает от чешской более глубокое погружение польского поэта в нирвану¹⁰ и борьба с Богом за Бога. Если, например, у Махара, Совы, Нейманна, Дыка есть расхождения с религией как у граждан и художников, у Бржезины, Карасака, Главачека — как у художников, то польские модернисты развивают сильную христианскую традицию, которая у Конопницкой была перекрыта патриотической идеей. Возможность разрешить противоречия между миром и человеком путем бегства от реальности способствовала этому. В «Гимнах» Й. Каспровича, как ни у какого другого поэта, выражены религиозные и этические метания человека, из которых рождается христианское смирение и чистота. Несмотря на это, его поэзия не имела такого влияния на европейский модернизм, как поэзия Ст. Пшибышевского. Его поэзия проникнута обновленной религиозностью, философией Ницше, эротическим пессимизмом, культом секса и сатанизма, осмеянием буржуазной морали. Возможно, это произошло потому, что его поэзия не нуждалась в переводе? Отнюдь. Он был одним из немногих, понимавших, что на родине его никто не поймет, и поэтому писал по-немецки ранние работы, произведения, герои которых уже ощущали, что перед ними конец прежнего образа жизни [13]. Поэзия Пшибышевского, создававшаяся в тот период, когда индивидуализм становился выходом из общего кризиса нации, намного больше обогащает современную поэтику, влияет на нее¹¹, чем «Гимны» Каспровича, выпавшие в то время, когда уже в подавляющем большинстве национальных литератур индивидуализм достиг своего апогея.

Воссоздать внутренний мир интеллигента со сменяющимися субъективными настроениями, красочностью, музыкальностью в его возможных, но едва уловимых отношениях с миром стремятся и словенские поэты. Меланхолическая ирония, новое понимание эротики в поэзии И. Цанкара («*Erotika*», 1899) свидетельствует о его близости к Шницлеру. В отличие от Цанкара О. Жупанчич в сборнике «*Saša opojnosti*» преодолевает болезненную меланхолию, стремясь сказать «что-то милое, доброе в эти тяжелые дни родине». Оба словенских поэта первоначально испытали на себе значительно большее влияние немецкого модернизма, чем чешские поэты. Постепенно они избавлялись от этого влияния и создавали собственные формы, в которых элементы народной поэзии соединялись с богатством, почерпнутым из мировой литературы.

Несмотря на отдельные национальные различия можно сказать, что названных поэтов объединяет идея поэтической индивидуальности, образ человека вообще и стремление включить национальную литературу, благодаря ее наднациональному характеру, в европейские взаимосвязи. В то же время их связывает и присущее народам австро-венгерской империи ощущение ее конца, нестабильности дел, жизненных и общественных ценностей и неверие, что уничтожение этой системы принесло бы позитивные ценности, возрождение и развитие общества.

В другом положении находится болгарский модерн, сосредоточившийся вокруг журнала «Мисъл». То, что в болгарском обществе у интеллигенции ощущение кризиса и одиночества не было столь интенсивным, как в случае выше названных славянских народов, отразилось в литературном творчестве. Болгарские поэты также стремились к выражению общечеловеческих идеалов гуманизма, к усилению роли творческой индивидуальности. Они также разделяли взгляд на гениального художника как на личность, призванную в общечеловеческих идеалах постичь смысл и сущность болгарского национального бытия. Однако в отличие от чешских модернистов П. Славейков, К. Христов, П. Тедоров,

¹⁰ Например, К. Пшерва-Тетмайер написал ряд стихов, прямо прославляющих нирвану — «Гимн нирване», «Нирвана!».

¹¹ Ст. Пшибышевский был ведущим членом берлинской немецко-скандинавской богемы и сотрудником чешского «*Moderní Revue*».

П. Яворов должны были в своем творчестве сначала преодолеть границы национально-освободительной изолированности и создать поэзию, отвечающую более высоким художественным требованиям. П. Славейков и близкие ему поэты не смогли преодолеть расхождений с европейским модерном, обусловленных общественными различиями, хотя в их теоретических постулатах появляются сходные требования. В частности, это подтверждает и признание Славейкова, что он не понимает стихотворения Р. Демеля «На берегу», которое он перевел на болгарский язык [14].

Лишь следующее поэтическое поколение (Т. Траянов, Д. Дебелянов, Л. Стоянов, Н. Лилиев) сумеет преодолеть определенный разрыв в развитии, создав поэзию, в мировоззренческом отношении соответствующую европейскому модернизму. В манифесте «Из нов път» И. Андрейчин выражает общее убеждение, что до сих пор в болгарской литературе не проявлялось влияние современных направлений, ощутимо было лишь воздействие романтизма. Траянов, Дебелянов и Лилиев ориентируются на французский и немецкий символизм, а также на русский (Брюсов, Блок, Бальмонт). Свое поэтическое высказывание они основывают на поэтике многозначных символов, на магии символики, на эстетическом волшебстве игры теней и таинственных взаимосвязей мерцающих образов, неподвластных рациональному постижению.

В период, когда на болгарской почве возник этот своеобразный вариант символизма, в чешской поэзии его сменило течение, стремящееся к созданию более глубокой и тесной связи индивидуума с реальностью, к тому, как выразил в своих стихах Карл Томан, чтобы «бунтом бурлить и звенеть и будить эхо в сердцах» (1902). Поэзия К. Томана, Ф. Геллнера, Ф. Шрамека, С. К. Нейманна во многом близка к сборнику П. К. Яворова «Стихотворения» (1901). Их антимещанский пафос имеет много точек соприкосновения с бунтарскими стихами К. Христова из сборников «Трепети» (1897), «Вечерни санки» (1899) и «На крастопат» (1901). Здесь есть типологическое сходство с поэзией, связанной в болгарской литературе с именами А. Далчева и Д. Пантелеева¹².

Последовавшее распространение модернистских направлений в болгарской литературе может представляться негативным явлением. Однако в нем есть и положительные стороны. Оно обусловило большее качественное и количественное развитие поэзии, несущей в себе социалистические элементы, по сравнению с чешской поэзией, где внимание было сосредоточено исключительно на поэтических течениях модерна. Об этом свидетельствует творчество Д. И. Полянова, Г. Киркова, С. Михайловского.

А как создавалась наднациональная тенденция в русской литературе? В журнале «Северный вестник» публиковали свои стихи такие представители модернизма, как Минский, Мережковский, Сологуб, Гиппиус, Брюсов и др. В статье «О причинах упадка и о новых течениях современной русской литературы» (1893), которая считается манифестом символизма, Мережковский утверждал, что необходимо отойти от современного реалистически-художественного материализма и встать на путь нового идеализма, который соответствует европейскому символизму, произведениям Э. По и Ш. Бодлера. Ценность поэзии он видит в том, что она будет основана на культурном принципе общечеловеческого, а не только русского, национального значения. Вначале русские символисты увлеклись западноевропейским символизмом. В трех совместных сборниках стихов, названных «Русские символисты» (1894—1895), они опубликовали незначительное число собственных стихов, зато много переводов из По, Верлена, Малларме, Метерлинка. Влияние русской атмосферы и духовности позволило преодолеть первый подражательный период и создать символизм самобытного характера. В отличие от западноевропейских символистов русские поэты ищут собственную социальную программу и создают масштабные, находящиеся в постоянной динамике мировоззренческие кон-

¹² А. Далчев и Д. Пантелеев в манифесте «Мертвая поэзия» отрицали символическое творчество и провозглашали возвращение к Явору [15].

цепции (Брюсов, Блок, Белый). Для старшего поколения (Мережковский, Гиппиус), однако, была характерна мистически-абстрактная тенденция (отнюдь не случайно оба они не приняли революции 1905 г.). Они исходили из убеждения Мережковского, что для русской интеллигенции выход из кризиса состоит в обновлении христианства [16].

Несмотря на типологические схождения с чешской современной, русский модерн обнаруживает гораздо большую зависимость от французского, чем чешский, как и веру, что в наступающем христианстве скрыта сила, которая победит мещанство. Их объединяет выраженный индивидуализм и его разновидность, знаменующая собой возврат от возвышенного к повседневной жизни. Нельзя не упомянуть и о поэзии, также способствовавшей созданию наднационального контекста, однако, в духе пролетарского интернационализма. Пролетарская поэзия рубежа веков, несущая в себе социалистические элементы, была в той или иной степени рассеяна по страницам рабочей печати. Исходя из утверждения Ф. Энгельса, содержавшегося в предисловии к изданию «Коммунистического манифеста» 1893 г., что пролетарский интернационализм приобрел в австро-венгерской монархии такое значение, что возможно возникновение Австрии, не знающей национальной вражды, можно полагать, что поэзия, публиковавшаяся на страницах газет «Dělnické Listy», «Rovnost» или «Právo Lidu» (произведения А. Мацека, Ч. Остравецкого, П. Безруча, Ф. Цайтгамла), как и на страницах «Sprawy robotnice», «Mlota» или «Arbeiterzeitung» несла в себе это наднациональное содержание.

Намного четче тенденция формирования поэзии, содержащей социалистические элементы, проявились в болгарской литературе. Ее интенсивность была столь велика, что некоторые ученые отождествляли ее с социалистическим реализмом. Д. Ф. Марков в книге «Генезис социалистического реализма» объясняет, что «было бы ошибкой называть метод писателя (Г. Киркова. — З. Б.) методом социалистического реализма. Но говорить о начальных элементах, тенденциях формирования нового метода, возникавших внутри критического реализма и постепенно раздвигавших его рамки, мне кажется, можно и должно» [17]. Особенность болгарского социалистического движения освещает Благоев, утверждавший, что социалистическая идея в Болгарии появилась раньше, чем возникло рабочее движение, и это было «неблагоприятно в том смысле, что без этого движения многие социалисты не понимали социализм как научное обоснование рабочего движения» [18]. Откуда взялась эта социалистическая идея? Здесь было сильное влияние России, ее рабочего движения, а позже и партии ленинского типа, влияние русской литературы, главным образом М. Горького.

Влияние М. Горького благоприятно сказалось и на чешской пролетарской поэзии, которая типологически была близка поэзии Ф. С. Шкулева, Л. П. Радина, А. Коца, А. Гмырева, А. С. Серафимовича. Революция 1905 г. в России углубила связь с Россией рабочих всех народов Австро-Венгрии. На улицах Вены, Праги, Будапешта, Кракова, Любляны и в других местах «говорили по-русски», проявления солидарности с борющимся пролетариатом России переросли в мощное забастовочное движение рабочих, которые тогда стали настоящей ведущей силой широкого народного движения. Революция 1905 г. отразилась в творчестве Й. Рокиты и Й. Магена. Предметом изображения стал сознательный рабочий, пролетарий, в котором — будущее страны, ибо он воплощает положительные активные элементы человечества. Выдающуюся роль здесь сыграла статья Ленина «Партийная организация и партийная литература» (1905), роман «Мать» (1906)¹³ и драма «Враги» М. Горького.

Одно из первых сообщений о Горьком опубликовала «Právo Lidu» в связи с демонстрациями в Петербурге в 1901 г. Вскоре появились и первые переводы его произведений. Ф. В. Крейчи публикует исследование о Горьком, где характеризует героев его прозы как людей, в которых русские революционные слои рабочих и молодая прогрессивная интеллиген-

¹³ Роман «Мать» был переведен Ф. В. Крейчи на чешский язык в 1908 г.

ция видят выражение своей жажды свободы и вековой борьбы с тиранией [19]. Горький для нашего рабочего и прогрессивного читателя из интеллигенции становился поддержкой в революционной борьбе. На собраниях читались «Песнь о Соколе» и «Песнь о Буревестнике». В революционном 1905 г. интерес чешской рабочей печати к Горькому увеличивается. Симпатии возросли, когда стало известно, что Горький не только сотрудничает с партией, но и является ее членом и основателем легального большевистского органа «Новая жизнь». А 6 декабря 1905 г. в «Právo Lidu» упоминается и имя В. И. Ленина как одного из вождей русских социалистов. Раннее творчество Горького оказало влияние на П. Безруча, Фр. Шрамека, К. Томана, Фр. Геллнера, Й. Угра, как констатировало в некрологе, посвященном последнему, «Právo Lidu» (8 XII 1908).

Интернационализм формируется здесь в сознании нового единства национальных культур, смысл и цель которого указывает гуманистический выход из непримиримых противоречий буржуазного общества, а тем самым и выход для подлинно нового искусства, необходимость которого ощущали все прогрессивные художники, независимо от своей национальной принадлежности. Преобладало осознание революционных событий в России, неотъемлемой частью которых была и борьба за новую культуру и литературу. Это создавало — в сочетании с глубоким гуманизмом славянства — благоприятные условия для понимания подлинного и реального единства целей нашего национального возрождения, что нашло отражение и в области культуры. Об этом свидетельствуют произведения М. Майеровой, С. К. Нейманна, Фр. Шрамека, Фр. Геллнера, А. Мацека, Й. Магена.

Нельзя не упомянуть еще об одном факте, на который уже указывал Д. Ф. Марков в вышеназванной книге — о взаимодействии демократической поэзии и поэзии, обладающей социалистическими элементами, об их взаимных диалектических взаимоотношениях (ср. [20]).

Сравнительное исследование изменения мотива народа и родины отвечает на поставленные в начале работы вопросы и позволяет сделать вывод о том, что понятие народа, родины у модернистов рубежа веков несомненно более прогрессивно, чем у сторонников национально-освободительных идей. В то же время оказывается, что наиболее прогрессивное понимание народа, родины заключено в пролетарской поэзии.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Tax J. a kol. Materialy z II. sympozia o bohematistice v zahraničí.* Praha, 1980, s. s. 127.
2. *Chraptěnko M. B. Tvoriva individualnost spisovateľa a vyvin literatury.* Bratislava, 1975, s. 293.
3. *Durišin D. Teória literárnej komparatistiky.* Bratislava, 1985, s. 198.
4. *Krejčí K. Politické básně Svatopluka Čecha.* — In: *Čech Sv. Písňe otroka a jiné básně.* Praha, 1952, s. 192—200.
5. *Wollman F. Bulharské drama.* Bratislava, 1928.
6. *Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 25.*
7. *Якубович П. Ф. Стихотворения.* Т. 2. Петербург, 1910.
8. *Fischer J. O. a kol. Dějiny francouzské literatury 19. a 20. století, sv. 1.* Praha, 1966.
9. *Ceská moderna.* — *Rozhledy*, 1986, č. 1, s. 3.
10. *Brzowski St. Legenda Młodej Polski.* Lwów, 1910.
11. *Zycie*, 1898, № 1, s. 25.
12. *Vahr H. Neue Studien zur Kritik der Moderne.* Berlin, 1897.
13. *Neumann A. Zur Charakteristik Stanislaw Przybyszewski.* — *Wiener Rundschau*, 1897, № 2, s. 671.
14. *Славейков П. Р. Демель.* София, 1900, с. 7.
15. *Далчев А., Пантелеев П. Мърта поезия.* Развигор, 1925.
16. *Máchal J. O symbolismu v polské a ruské literatuře.* Praha, 1935.
17. *Марков Д. Ф. Генезис социалистического реализма.* М., 1970, с. 143.
18. *Благоев Д. Привос към историята на социализма в България.* София, 1949.
19. *Právo Lidu*, roč. X, 1901, s. 1.
20. *Bastlová Z. Světový názor, umělecké ztvárnění a společenská funkce díla.* — *AUC Philologica.* Praha, 1984.



О «БАЛТО-СЛАВЯНСКОЙ» НОВЕЛЛЕ П. МЕРИМЕ «LOKIS»

Славянская тематика в произведениях П. Мериме с момента их опубликования привлекала к себе внимание славянских, в частности, русских, читателей, переводчиков и литературоведов. Нам интересно взглянуть на себя со стороны; с любопытством и снисхождением воспринимаем мы славянский *couleur locale* и, вместе с тем, придирчиво находим редкие, как ни странно, промахи автора, припоминая при этом, что П. Мериме далеко не безупречно владел русским языком, никогда не бывал ни в России, ни в других славянских странах. Очень продуктивным оказался интерес русских переводчиков к произведениям П. Мериме. Недостаточно глубоко изучалось творчество французского писателя русскими, в частности советскими, литературоведами, забывавшими порой о том, каким выдающимся литературным мистификатором, талантливым переводчиком, тонким стилистом был П. Мериме.

С изящной мистификации он начал свой литературный путь, опубликовав в 1825 г. «Театр Клары Газуль» («Théâtre de Clara Gazul»). В сборнике пьес, якобы сочиненных испанской актрисой, был представлен ее портрет с лицом Проспера Мериме, на предыдущей же странице находилось изображение молодого человека с дыркой на месте лица. Совместив страницы, читатель легко мог получить портрет тогда еще никому не известного истинного автора книги. В кругу своих закомых Мериме приобрел прозвище «граф Газуль», а через год анаграмма «Гузла» («La Guzla») стала, как известно, названием следующего произведения П. Мериме — изданного анонимно сборника славянских песен.

История обращений П. Мериме к славянской культуре начинается с «La Guzla», продолжается в течение целого периода его творчества, справедливо называемого «литературной эмиграцией в Россию», и завершается новеллой «Lokis». Трудно судить о том, где именно черпал П. Мериме славянские материалы для своих произведений, какими изданиями пользовался, в чем заключалась помощь его друзей, так как библиотека и все бумаги писателя сгорели в 1871 г., а его остроумные объяснения по этому поводу намеренно противоречивы и так правдоподобны, что до сих пор дезориентируют не только читателей, но и литературоведов. Многие исследователи может лишь предполагать. Например, обращение П. Мериме к публиковавшимся В. С. Караджичем, начиная с 20-х годов XIX в., сербским сказкам. В одной из них, названной «Медведович», присутствует сюжет с медведем, утащившим к себе особу женского пола, очень распространенный в славянском, в частности русском, фольклоре, и с появлением сына женщины и медведя [1, с. 403]. Он не оборотень и не чудовище, но обладатель обычной человеческой внешности.

Познания П. Мериме в области славянского фольклора были обшир-

ны, его консультантами были русские друзья (в их числе И. С. Тургенев); о сыне медведя писатель мог узнать и от них. Тем не менее есть основание предположить, что интерес молодого П. Мериме к славянскому фольклору, отразившийся в сборнике, имел продолжение в самом конце его творческого и жизненного пути, т. е., что в новелле П. Мериме «Lokis» мы встретились с сербским Медведовичем из собрания В. С. Караджича.

Литовский граф Шемёт — сын графини и медведя. Историю о том, как такое могло получиться, Мериме, предвидя цензурные осложнения и осуждение света, завуалировал так успешно, что придворные дамы и сама императрица Евгения, в присутствии которой состоялось чтение новеллы 22 июля 1869 г., не обнаружили в ее содержании ничего непристойного. Мотив же об уносе женщины медведем встречается в новелле дважды: в рассказе доктора и в виде недоразумения на свадьбе графа.

На два источника славянского местного колорита — «Плененную Польшу» Ш. Эдмона и «Пана Тадеуша» А. Мицкевича, П. Мериме ссылается в примечании к новелле, третий — балладу А. Мицкевича о Будрысах — приводит полностью в тексте новеллы. Были, разумеется, и другие источники. Так, например, существует мнение, что батальные воспоминания доктора Фрёбера восходят к «Севастопольским рассказам» Л. Н. Толстого [2]. На историю создания новеллы «Lokis» проливают свет письма П. Мериме И. С. Тургеневу [3]. Творческие взаимоотношения двух писателей не раз освещались литературоведами [2; 4; 5].

Местный колорит новеллы «Lokis» не столько славянский, сколько балто-славянский. Текст новеллы свидетельствует о том, что для воспроизведения неведомой Европе экзотики П. Мериме проделал большую работу. В новелле «Lokis», действие которой происходит в Литве, употребляются не только отдельные литовские слова (*dainos, pasakos, kapas, lokys* и др.)¹, но и литовская пословица «*Meška su lokiu, abu du tokiu*», соответствующая по значению французской пословице «*Les deux font la paire*», которую Мериме приводит в примечании к новелле вместе с дословным переводом литовской пословицы на французский и латинский языки² [6, p. 87]. У Мериме пословица имеет следующий вид: «*Miszka su Lokiu, abu du tokiu*». Случайно или намеренно заменил Мериме литовское слово *meška* именем Мишка, судить трудно. Не исключено, что он случайно отождествил неизвестное ему литовское слово с похоже звучащим русским именем Мишка, часто употребляемым в русском фольклоре в качестве синонима слова медведь. Об этом в конце новеллы рассказывает своим слушателям профессор Виттембах³.

Возможно и другое объяснение: Мериме мог сознательно заменить литовское *meška* именем, так как иначе пословица не могла бы служить эпиграфом к рукописи профессора Виттембаха и указывать на то, что слово *lokys*, ставшее названием новеллы, относится к графу Шемёту, имя которого — Михаил. Об этой важнейшей функции эпиграфа в новелле Мериме писал И. С. Тургеневу 10 февраля 1869 г.⁴

Французские исследователи творчества Мериме отмечали, что профессор Виттембах во многом напоминает немецкого филолога А. Шлейхера (1821—1868), путешествовавшего по Литве и издавшего затем учебник литовского языка (1856), сборник литовских песен, загадок, пословиц и сказок (1857), а также произведения классика литовской литературы К. Донелайтиса (1856) [6, p. 163—164].

Пословица «*Meška su lokiu, abu du tokiu*» содержится во втором томе

¹ Литовские слова даны в современном написании, за исключением тех случаев, где речь идет о названии французского оригинала «Lokis».

² «*Michon (Michel) avec Lokis, tous les deux les mêmes*». «*Michaelium cum Lokide, ambo (duo) ipsissimi*».

³ «*Chez les Slaves on le nomme Michel, Miszka en lithuanien, et ce surnom remplace presque toujours le nom générique, lokis*» [6, p. 149].

⁴ «*La petite drolerie s'appellera „Lokis“, et l'épigramme sera ce proverbe jmoude: „Michel et Lokis font la paire“. Michel est le nom du gentleman dont la mère a éprouvé l'accident que vous savez*» [3, p. 206, LXIV].

учебника литовского языка А. Шлейхера [7, с. 89], изданном в 1857 г.⁵ Изагага в общих чертах замысел новеллы, Мериме писал И. С. Тургеневу 9 октября 1868 г., что поместил действие ее в Литву, так как в это время у него была под руками литовская грамматика⁶. В двухтомнике А. Шлейхера пословицы даны без перевода и без объяснения их значения. А между тем значение пословицы «Meška su lokiu, abu du tokiu» было известно Мериме, о чем свидетельствует как его новелла, так и письма, где пословица встречается неоднократно, в том числе и безотносительно к новелле⁷.

Каким изданием литовской грамматики и текстов располагал Мериме, была ли, и кем именно, пословица сообщена французскому писателю — об этом можно судить лишь предположительно из-за гибели его библиотеки и архива. Тем не менее, напрашивается вывод: Мериме или его консультанты могли видеть пословицу в сборнике А. Шлейхера, так как он был издан до появления новеллы «Lokis».

В случае обнаружения пословицы не у А. Шлейхера, а где-либо еще П. Мериме мог не менять ее написание, так как собиратель пословиц, возможно, не носитель литовского языка, мог услышать очень узкое в данном случае е как і и записать слово в уже упомянутом виде: miszka, тем более, что единообразия в литовской орфографии XIX в. не было⁸.

Новелла «Lokis» представляет собой отражение славяно-французских литературных связей. Мистификация профессора панной Ивинской, представившей ему под видом литовской народной песни собственный литовский перевод одной из баллад Мицкевича, — отголосок реальных событий в литературном мире, вызванных появлением (первоначально анонимным) сборника народных песен «La Guzla», в подлинности которых не усомнились, как известно, Пушкин и Мицкевич, позднее узнавшие об авторстве Мериме. Многие песни из сборника «La Guzla» вошли в «Песни западных славян» Пушкина, Мицкевич же перевел на польский язык балладу «Le Morlaque à Venise», которая была затем снова переведена на французский с польского языка К. Островским, переводчиком произведений Мицкевича, не подозревавшим, по-видимому, что в данном случае он перевел не оригинал [6, р. 174].

Мериме же в свою очередь некоторое время заблуждался относительно баллады Мицкевича «Trzech Budrysów», полагая, что Пушкин является не переводчиком ее, а автором. Мериме перевел пушкинский текст с русского на французский язык («Boudris et ses Fils») [8, р. 107, 227], но не публиковал его, так как вовремя узнал о своей невольной ошибке [8, р. XXXVIII], которая, тем не менее оказалась зафиксированной в печати в 1853 г. в историческом очерке «Épisode de l'Histoire de Russie. Les Faux Démétrius», где при упоминании о красоте Марины Мнишек П. Мериме цитирует А. С. Пушкина как автора слов: «Enjouée!.. on dirai une chatte gambadant autour du poêle; rose comme la rose, blanche comme la crème, ses yeux brillent comme deux flambeaux» [9, р. 78].

У Пушкина:

«Нет на свете царицы краше польской
девицы.

Весела, что котенок у печки,
И как роза румяна, а бела, что
сметана;

Очи светятся *будто две свечки!*

(курсив мой.— Х. С.) [10, с. 311].

⁵ Французский меримеист Л. Лемонье, пользовавшийся этим изданием для проверки познаний П. Мериме в области литовского языка, пословицы не заметил, очевидно, дезориентированный именем, но, найдя в словаре все остальные слова пословицы, сделал вывод о том, что Мериме не кажется изобретателем этой пословицы («Mérime ne semble pas avoir inventé ce proverbe») [6, р. 164].

⁶ «... En ruminant cette belle histoire, j'avais entre les mains une grammaire lithuanienne. Je suis devenu très fort en jmoude... et j'ai mis la scène en Lithuanie» [3, р. 196, LX].

⁷ «... je suis fâché que vous preniez Carlsruhe pour quartier d'hiver. Bade et Carlsruhe, Michka et Lokis» [3, р. 204, LXIII].

⁸ Привожу благодарность М. Г. Недецкой за сведения из области литуанистики.

В новелле «Lokis» Мериме представил балладу Мицкевича «Trzech Budrysów» полностью теперь уже в переводе с польского языка на французский («Les Trois Fils de Boudris») [6, p. 104, 172], сопроводив его замечанием одного из персонажей: «... вас сумела провести девочка, читавшая одни только романы. Она перевела вам на жмудский язык и довольно правильно, одну из прекрасных баллад Мицкевича, которую вы не читали, потому что она не старше меня. Если желаете, я покажу вам ее польски, или, ежели вы предпочитаете восхитительный русский перевод, я дам вам Пушкина.

Сознаюсь, я был ошеломлен. Воображаю себе радость дерптского профессора, напечатай я как подлинник дайну о сыновьях Будрыса!» (перевод М. А. Петровского) [41, с. 41]. О том, что Мериме таким образом «взвратил» авторство польскому поэту, писал А. Монго в знаменитой статье «Mérimee et la litterature russe» [8, p. XXXVIII].

Интересно, что кроме того Мериме подчеркнул и отличие оригинального польского текста от конгениального русского перевода, приведя в новелле упомянутый отрывок дважды в переводе с польского: «Folâtres comme des chattes, blanches comme de la crème! *sous leurs noirs soursils, leurs yeux brillent comme deux étoiles*» (профессор Виттембах декламирует балладу) [6, p. 105—106]. «Folâtre comme une chatte... blanche comme la crème... ses yeux brillent comme deux étoiles... C'est son portrait» (Речь идет о красоте панны Ивинской) [6, p. 108].

Для сравнения приводим тот же отрывок из Мицкевича:

Bo nad wszystkich ziem branki,
milsze Laszki kochanki,
Wesolutkie jak *mlode koteczki*,
Lice bielsze od mleka, z *czarną*,
rzęszą powieka,
Oczy błyszczą się *jak dwie*
gwiazdeczki.

(курсив мой.— X. C.) [12, p. 104].

Сравнение четырех текстов: польской баллады А. Мицкевича «Trzech Budrysów», ее пушкинского перевода на русский язык «Будрыс и его сыновья» с двумя переводами П. Мериме («Les trois Fils de Boudrys» и «Boudris et ses Fils») показывает: 1) что между двумя французскими переводами существуют те же различия, что и между польским и русским текстами; 2) что Мериме выделил в тексте новеллы «Lokis» отрывок о польских красавицах, сконцентрировал на нем внимание читателя, повторив дважды на французском языке слова Мицкевича, а не Пушкина, и тем самым своеобразно компенсировал оплошность, допущенную им в очерках о Лжедмитриях [9], зафиксированную в печати в 1853 г.

Что же касается неведения Мериме о том, что автор баллады о Будрысах не Пушкин, а Мицкевич, то оно было закономерным. А. Монго объясняет его отсутствием ссылок на Мицкевича в русских изданиях стихотворений Пушкина, выходявших в 30-е годы XIX в. [8, p. 227]. Добавим, что на протяжении нескольких десятилетий имя Мицкевича не могло быть упомянуто в русской печати из-за цензурного запрета [13, с. 468—469].

Сопоставление четырех перечисленных выше текстов позволяет внести уточнение в следующие наблюдения З. И. Кирнозе: «Интересна история стихотворения „Будрыс и его сыновья“ в творчестве Мериме. Автограф перевода, первоначально неопубликованного, был подарен Мериме врачу и политическому деятелю Александру Биксио и включен в 1869 г. в новеллу „Локис“, а при составлении А. Монго тома „Этюды о русской литературе“ вновь перепечатан с рукописи... Мериме не обращался к оригиналу А. Мицкевича...» [14, с. 134] (см. также [15, с. 13]). Сопоставление двух французских переводов Мериме с польским оригиналом и русским переводом указывает на то, что судьба баллады о Будрысах в творчестве Мериме еще интереснее, ибо в новеллу он включил перевод польского подлинника.

В качестве приложения — несколько слов о «русском „Локисе“».

Новелла неоднократно переводилась на русский язык, перерабатывалась и просто упоминалась русскими писателями [16].

Некоторые особенности новеллы ставят русских переводчиков в необычное положение, во многом сходное с тем, в котором был Пушкин, переведший славянские песни из сборника «La Guzla». По словам самого Мериме, «... это можно сравнить с „Жиль Бласом“, переведенным на испанский язык, или с „Письмами португальской монахини“ в португальском переводе» [17, с. 152—153].

В русских переводах новеллы частично блекнет ее местный колорит, потому, например, что слова *cosaque, douratchki, klikoucha, Siatelstvo, bourka, staroste, kourgâne, joubr, tchekhole, sarafane, roussalka* и т. п., резко выделяющиеся во французском оригинале, теряются в русском тексте (в отличие от польских слов *starka, pani* и других, испанских *gancho, gauchos* и других, упомянутых литовских слов), баллада же Мицкевича о трех Будрысах оказывается переводом перевода⁹.

Первый русский перевод новеллы был издан в Киеве в 1885 г. под названием «Медведь. Литовская повесть» (псевдоним переводчика — Максим Белинский) [18] тиражом всего в 600 экземпляров и является библиографической редкостью¹⁰. Первым переводчиком «Литовской повести» на русский язык был известный в свое время писатель, внук ссыльного поляка, участника восстания 1831 г., Иероним Иеронимович Ясинский (1850—1931). Творчество Мериме, и новелла «Lokis» в частности, было для Ясинского объектом не только переводческого внимания. Как и Мериме, Ясинский — автор произведения об эпохе Лжедмитрия [19]. Пример влияния Мериме на творчество русского писателя содержится в повести Ясинского «Привидение доктора» [20]. Один из ее персонажей — Никита Сергеевич Медведь — оккультист и вампир, терзающий постепенно чахнущую от этого женщину. Тема вампиризма была достаточно развита в европейской и русской литературе XIX в. (см. [21]), чтобы попасть к Ясинскому и не от Мериме. Тем не менее, фамилия персонажа-кровопийцы явно ассоциируется с новеллой «Lokis».

Второй русский перевод новеллы вышел в анонимном журнальном издании в 1891 г. [22]. Одна из особенностей этого перевода в том, что автор, в отличие от других переводчиков, поместил в него пушкинский русский текст баллады «Будрыс и его сыновья» [22, с. 143], обесмыслив тем самым следующие за декламацией баллады слова графа Шемёта: «...если вы предпочитаете прекраснейший русский перевод, я дам вам Пушкина» [22, с. 145], но и избежав двукратного перевода польского подлинника.

Замечательны три перевода новеллы «Lokis», сделанные в XX в. [11; 23; 24] прекрасным поэтом и писателем М. А. Кузминым, передавшим в своем переводе изящество лаконизма П. Мериме, и выдающимися литературоведами М. А. Петровским и А. А. Смирновым с глубоким знанием материала много переводившими из П. Мериме. Вместе с тем похоже, что именно А. А. Смирнов более 30 лет назад впервые пришел к заключению: «Эпиграф рукописи, имеющий вид литовской пословицы, без сомнения сочинен самим Мериме и представляет собой соединение литовских и русских слов» [17, с. 571]. Заблуждение оказалось долговечным [25, с. 516; 26, с. 297; 27, с. 444]. Меримеистика не знает того, что является аксиомой для литуаниста: Мериме не мог быть автором пословицы, которую можно увидеть не только в упомянутом учебнике А. Шлейхера, но и в собрании пословиц выдающегося литовского ученого В. Креве-Мицкявичюса [28, р. 611], в кратких сборниках литовских пословиц и поговорок [29, р. 384] и даже в словаре синонимов литовского языка, автор которого проиллюстрировал этой пословицей синонимию слов *meška* и *lokys* [30, р. 212]. Заблуждение комментатора относительно происхождения эпиграфа новеллы свидетельствует не столько о его некомпетентности (Мериме не раз вводил

⁹ Парадоксальным оказался бы перевод новеллы «Lokis» на литовский язык. Трудно представить себе, например, как поступил бы переводчик с последней в эпиграфе новеллы. Мы не располагаем сведениями о существовании литовских переводов новеллы «Lokis».

¹⁰ Переиздан в 1910 г. в Петербурге под названием «Lokis. Литовская легенда».

в заблуждение знатоков), сколько о мастерстве французского писателя, достигшего такого гармоничного сочетания мистификации с документальностью, собственного стиля с местным колоритом, что читатель не ощущает разницы между вымыслом и правдой, верит тому, чего не было, видит выдумку там, где ее нет.

Новелла «Lokis» не только переводилась на русский язык, но и перерабатывалась писателями. Заметным явлением в послереволюционной театральной жизни стала пьеса А. В. Луначарского «Медвежья свадьба», так как она шла в театрах многих городов, рецензировалась в печати и была экранизирована. Автор ввел в пьесу множество персонажей, отсутствующих у Мериме. Некоторые сюжетные детали новеллы «Lokis» сохранены А. В. Луначарским, но до неузнаваемости им переосмыслены. Так, например, кровожадность графа Шемёта объясняется не вампиризмом и не какой-либо патологией, а его классовым происхождением («Сколько наших жмудских жизней... съед род людоедов-Шемётов...» [31] и т. п.). Частично представлена в пьесе баллада о Будрысах, а именно ее начало, где описываются их захватнические намерения.

Фильм «Медвежья свадьба», снятый в 1925—1926 гг. по сценарию А. В. Луначарского и Г. Э. Гребнера, интересен не только историку кино, но и литературоведу, так как представляет собой экранизацию пьесы А. В. Луначарского, имеет косвенное отношение к П. Мериме и упоминается в стихотворении В. В. Маяковского 1927 г. «Стабилизация быта» [32].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Сербские народные песни и сказки из собрания Вука Стефановича Караджича. М., 1987.
2. Удерецкий Ю. В. И. С. Тургенев и Проспер Мериме. (К истории личных и творческих взаимоотношений.) — Филологические науки, 1977, № 3.
3. Parturier M. Une amitié littéraire. Prosper Mérimée et Ivan Tourguéniev. Paris, 1952.
4. Клеман М. К. И. С. Тургенев и Проспер Мериме. — В кн.: Литературное наследство. Т. 31—32. М., 1937.
5. Горохова Р. М. Тургенев и новелла Проспера Мериме «Локис». — В кн.: Тургеневский сборник. Т. 2. М., 1966.
6. Mérimée P. Oeuvres complètes. Т. 6. Dernières nouvelles. Paris, 1929.
7. Schleicher A. Handbuch der litauischen Sprache. Т. II. Lesebuch und Glossar. Prag, 1857.
8. Mérimée P. Oeuvres complètes. Т. 10. Etudes de la littérature russe. Paris, 1931.
9. Mérimée P. Episode de l'Histoire de Russie. Les Faux Démétrius, Paris, 1853.
10. Пушкин А. С. Полное собрание сочинений. Т. 3, ч. 1. М., 1948.
11. Мериме П. Четыре повести. М., 1919.
12. Mickiewicz A. Ballady i romanse. Warszawa, 1982.
13. Полянская Л. И. Цензурные дела об издании произведений Мицкевича в России. — В кн.: Адам Мицкевич в русской печати. 1825—1965. Библиографические материалы. М.—Л., 1957.
14. Связи литовской литературы с литературами СССР и зарубежных стран. Тезисы докладов Республиканской научной конференции. Вильнюс, 1987.
15. Mérimée — Пушкин. М., 1987.
16. Паевская А. Д., Данченко В. Т. Проспер Мериме. Библиография русских переводов и критической литературы на русском языке 1828—1967. М., 1968.
17. Мериме П. Избранные сочинения в 2-х томах. Т. 2. М., 1956.
18. Мериме П. Медведь. Литовская повесть. Киев, 1885.
19. Ясинский И. И. Названный Дмитрий. 1606 год. СПб., 1878.
20. Ясинский И. И. Привидение доктора. СПб., 1913.
21. Ильшин А. А. О едном югословенском мотиву у русской књижевности. — В кн.: Прилози проучавању српско-руских књижевних веза. Прва половина XIX в. Нови Сад, 1980.
22. Вестник иностранной литературы. СПб., 1891. Ч. 1, январь.
23. Мериме П. Собрание сочинений в 7-и томах. Т. 7. Л., 1927.
24. Мериме П. Новеллы. Рига, 1950.
25. Мериме П. Собрание сочинений в 6-и томах. Т. 2. М., 1963.
26. Мериме П. Собрание сочинений в 4-х томах. Т. 3. М., 1983.
27. Мериме П. Избранное. Минск, 1983.
28. Tauta ir žodis. V kn. Kaunas, 1928.
29. Patarlės ir priežodžiai. Vilnius, 1958.
30. Lyberis A. A. Sinonimų žodynas. Vilnius, 1980.
31. Луначарский А. В. Медвежья свадьба. Мелодрама на сюжет Мериме. В 9 картинах. М., 1924, с. 19.
32. Маяковский В. В. Полное собрание сочинений в 13-и томах. Т. 8. М., 1958, с. 7—9.



НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ ТРУБЕЦКОЙ — УЧЕНЫЙ, МЫСЛИТЕЛЬ, ЧЕЛОВЕК

(к столетию со дня рождения)

«История русской культуры, вся она в перебоях, в приступах, в отречениях или увлечениях, в разочарованиях, изменах, разрывах, — писал Г. Флоровский. — Всего меньше в ней непосредственной цельности. Русская историческая ткань так странно спутана, и вся точно перемята и оборвана. <...> Издавна русская душа живет и пребывает во многих веках и возрастах сразу. Не потому, что торжествует или возвышается над временем. Напротив, расплывается во временах. Несоизмеримые и разновременные душевные формации как-то совмещаются и срастаются между собой. Но сrostок не есть синтез. Именно синтез и не удавался... Эта сложность души — от слабости, от чрезмерной впечатлительности... В русской душе есть опасная склонность, есть предательская способность к тем культурно-психологическим превращениям или перевоплощениям, о которых говорил Достоевский в своей Пушкинской речи. <...> Этот дар „всемирной отзывчивости“, во всяком случае, роковой и двусмысленный дар. Повышенная чуткость и отзывчивость очень затрудняет творческое собирание души. В этих странствиях по временам и культурам всегда угрожает опасность не найти самого себя. Душа теряется, сама себя теряет, в этих переливах исторических впечатлений и переживаний. Точно не поспевает сама к себе возвращаться, слишком многое привлекает ее и развлекает, удерживает в инобытии. И создаются в душе какие-то кочевые приемычки, — привычки жить на развалинах или в походных шатрах. Русская душа плохо помнит родство. И всего настойчивее в отрицаниях и отречениях... Принято говорить о русской мечтательности, о женской податливости русской души... В этом есть известная правда... <...> Только любовь есть подлинная сила синтеза и единства. И вот, русская душа не была тверда и предана в этой своей последней любви. Слишком часто заболела она мистическим непостоянством. Слишком привыкли русские люди празднично томиться на роковых перекрестках, у перепутных крестов. „Ни Зверя ски, ни тр нести не смея, ни изго легкое Христа“... И есть в русской душе даже какая-то особенная страсть и притяжение к таким перепутиям и перекресткам. Нет решимости сделать выбор. Нет воли принять ответственность. Есть что-то артистическое в русской душе, слишком много игры. Душа растягивается, тянется и томится среди очарования. Но очарование не есть любовь. <...> Укрепляет только жертвенная и волевая любовь, не накат страсти, не медиумизм тайного сродства. Но не было в русской душе именно этой жертвенности, не было этого самоотречения перед истинной, этого последнего смирения в любви. Душа двойится и змеится в своих привязанностях. И позже всего просыпается в русской душе л о г и ч е с к а я с о в е с т ь, — искренность и ответственность в познании. <...> В русском переживании истории всегда преувеличивается значение без-

личных, даже бессознательных, каких-то стихийных сил, „органических процессов“, „власть земли“, точно история совершается скорее в страдательном залоге, более случается, чем творится. ... Выпадает категория ответственности. И это при всей исторической чувствительности, восприимчивости, наблюдательности... В истории русской мысли с особенной резкостью сказывается эта безответственность народного духа. И в ней завязка русской трагедии культуры... Это христианская трагедия, не эллинская античная. Трагедия вольного греха, трагедия ослепшей свободы, — не трагедия слепого рока или первобытной тьмы. Это трагедия двоящейся любви, трагедия мистической неверности и непостоянства. Это трагедия духовного рабства и одержимости... Поэтому и вырваться из этого преисподнего смерча страстей можно только в покаянном бдении, в возвращении, собирании и трезвении души...» («Пути русского богословия». Второе издание. Paris, 1981, с. 500—502).

Жизнь и жизненное дело Н. С. Трубецкого, то, как выживалась эта жизнь и делалось это дело, видятся на фоне нарисованной выше и в целом весьма справедливой картины как яркая контрастная вспышка, как преодолевающее энтропию собирание «русской исторической ткани», как становление нового человека, достойного его жизненного дела. А это жизненное дело и состояло в собирании и трезвении души, в выборе пути через «внутреннюю пустыню» возвращающегося духа, при свете пробудившейся «логической совести» и становящейся «категории ответственности». Жизнь Н. С. Трубецкого во всей ее цельности, подлинной синтетичности, слитности желания и долга и стала главным, первичным и самым наглядным подтверждением его жизненного дела. Все остальное, каким бы важным оно ни было, производно, как результат разворачивания исходных импульсов и энергий. И если мы прежде всего замечаем «производное», то это следствие aberrации нашего ложно ориентируемого взгляда и отвычки от углубленного и свободного от разного рода «автоматизмов» размышления.

Приведенные выше слова о трагедии русской культуры и о завязке ее в глубочайше укорененных свойствах русской души так суровы и горьки, что могут, особенно при первой встрече с ними, вызвать желание оспорить их и оспорить прежде, нежели осознать предмет спора, но они, эти слова, ответственны, честны, и трудно не понять и уж во всяком случае не почувствовать, что в них — правда, отвернуться от которой — грех. Но главное даже не в этом. Что логическая совесть, ответственность в познании, активное строительство истории, собирание и трезвение души, аскеза полезны и необходимы, — не вызывает сколько-нибудь серьезных сомнений. Но что делать русскому человеку с тем, что ему дорого, или с тем, что так приросло к нему и стало его второй натурой, основанием для того, чтобы считать его русским — с жизнью во многих веках и возрастах сразу, повышенной впечатлительностью, чуткостью, «всемирной отзывчивостью», устремленностью к другому? Ведь это не только соблазн и грех русской жизни, культуры, истории. За этими свойствами «русской души», — конечно, далеко не всякой, а той лучшей или во всяком случае наиболее открытой добру, с которой связывала свои надежды великая русская литература, и не просто «реально» существующей русской души, но скорее выискуемой, чаемой, поставляемой себе как цель, — все-таки угадывается нечто сокровенное и дорогое, зачеркнуть и уничтожить которое «просто так» было бы еще более страшным грехом, каковой и творился в России большую часть нашего века. Ведь все эти «отрицательные» или, по крайней мере, затрудняющие творческое собирание души свойства могут быть естественно-разумно увидены и в менее опасном свете — хотя бы как «положительно-отрицательные», т. е. такие, которые нуждаются не просто в их отбрасывании или зачеркивании (да и выполнима ли такая задача вообще?), но в некоем «дифференцированно-амелиорирующем» возвращении, в формировании того ядра, из которого может и при соответствующих условиях должна возникнуть «новая», лучшая прежней, но все-таки с нею связанная и ее продолжающая душа и из нее вырастающее новое сознание, новая ответственность, новая нравственность, новый тип исторического бытия,

встретившись с которым, все люди доброй воли сказали бы — «Да будет!». Более того, эти «положительно-отрицательные» (по сути же своей, нейтральные) свойства, чье «склонение» в дурную сторону не столько характеристика их самих или неизбежно присутствующего в них дефекта, сколько следствие того «исторического» (в широком смысле слова) контекста, в котором они оказались, выглядят, пожалуй, как некие специализированные варианты какого-то более фундаментального свойства, порождающего и эти частные черты.

Широта открытости могла бы претендовать на эту определяющую роль, и такой выбор получает свое объяснение при обращении к характерному, извне нередко воспринимаемому как некое патологическое отклонение от нормы, «русскому» варианту, предполагающему такую гипертрофированную широту-открытость, что центр «своей» жизни как бы теряет актуальность и притягательность, внимание переносится на другие, «чужие» центры, к тому же нередко ложно истолковываемые, и формируется та «эксцентрическая» установка (именно в этом смысле любил употреблять слово «эксцентризм» Трубецкой), которая вызывает нередкое равнодушие и охлаждение к «своему» делу, уводит в сторону от выполнения его и манит человека соблазнами «чужого», дальнего, часто вообще иллюзорного. Это свойство широты-открытости не просто эмпирическая данность некоего культурного типа, но нечто основоположное или этому основоположному соответствующее: ландшафт души и структура пространства соотношены друг с другом, и в чем-то очень важном и глубинном изоморфны между собой. Если говорить об опасных следствиях, то широта души как бы снимает необходимость ответственного выбора. его можно отложить или снять, пытаюсь примирить непримиримое или полагаясь на «авось». Широта пространства суфлирует душе именно в этом направлении: всегда есть место, есть соответствующее этому «широкому» месту время, никогда не поздно сделать выбор. Время как бы освобождается от ответственности — от принятия решения действовать, сделанного в «узком» месте и в «узкое» время — в то единственное, когда оно необходимо: в нужном месте в нужное время. Правильный выбор таких условий воспитывает душу, и сознание долга, ответственности и умение жить в соответствии с ними, т. е. считать их *необходимыми*. — из лучших плодов такого воспитания души, без которого жизнь в «истории» трудна, бедна, ущербна. Нет сомнения, что такая широта-открытость без соответствующего воспитания души порождает экстенсивные тенденции, пассивность, необязательность, снижение профессионального уровня «умений», психологию ожидания, соблазны ума и чувства, ведущие к смещению в душе слишком разного — и идеала Мадонны, и содомского идеала, о чем и были сказаны знаменитые слова Мити Карамазова, — «Нет, широк человек, слишком даже широк, я бы сузил», и сужение это необходимо именно из-за силы соблазнов «отрицательного» («В содоме ли красота? Верь, что в содоме-то она и сидит для огромного большинства людей, — знал ли ты эту тайну или нет?»). Своеволие мысли, ослабление ответственности, нечувствие к тем ситуациям, когда судьба призывает к выбору, к выполнению долга, или даже сознательное избегание подобных ситуаций, — главные соблазны «широкой» души, и в той или иной степени эта опасность присутствовала в русской истории и осознавалась лучшими людьми в разных слоях русского общества.

Н. С. Трубецкой в этом контексте привлекает к себе внимание, между прочим, и тем, что он оказался одним из немногих, кто, не поступившись широтой духа, мысли, интересов, нашел путь преодоления названных выше соблазнов и из самых разных элементов жизненной эмпирии — «своих» и «чужих», близких и далеких — сумел создать столь организованную «конструкцию», в которой все «разное» оказалось на потребу единого. Эта «конструкция» — определяющая для Трубецкого как человека, как мыслителя и как ученого, и в этом отношении он являет собой удивительный пример подлинной цельности и единства. Под этим углом зрения вся жизнь и деятельность Трубецкого своего рода *цереглиф*, высокий смысл которого в главном понятен, хотя полная оценка его все-таки невозможна без опре-

деления того, з н а к о м чего предстает этот иероглиф. Этим как бы во-вне лежащим «обозначаемым» была русская жизнь предреволюционной поры, взятая в высшем цветении ее творческого гения, — в литературе и искусстве, в философской и религиозной мысли, в науке — том цветении, равного которому, видимо, не было в русской истории. Русская культура, как бы предчувствуя предстоящие ей страшные испытания, спешила раскрыть всю свою глубину и многообразие, засвидетельствовать своими достижениями свой уровень и хотя бы намекнуть на свои возможности, которые должны были стать реальностью в 20—30-е годы и которые ею не стали, если не говорить о редких исключениях. В предчувствии своего гибельного пути русская культура начала века стала средоточием стихии providенциального, пророческого, напутственного, и сейчас, спустя многие десятилетия, знаки грядущей катастрофы все отчетливее проступают на лице русской культуры того времени, порою сливаясь в тот «текст беды», который мы, живущие в конце века, хорошо знаем и который русская культура начала века в лице лучших ее представителей предощущала, тревожно предупреждая о его сложении. Предупреждения или не были услышаны или ими не успели воспользоваться, но заветы остались, и наступающее новое время все чаще и глубже будет возвращаться к ним.

Кто же были эти творцы высшего цветения русской культуры, много ли их было и в чем состоял смысл их творческого подвига? «Нас таких в России, может быть, около тысячи человек; действительно, может быть, не больше, но ведь этого очень довольно, чтобы не умирать идее. Мы, носители идеи, мой милый!...», — говорит Версиров Аркадию в «Подростке». — «У нас создался веками какой-то еще нигде не виданный высший культурный тип, которого нет в целом мире — тип всемирного боления за всех. Это — тип русский, но так как он взят в высшем культурном слое народа русского, то, стало быть, я имею честь принадлежать к нему. Он хранит в себе будущее России. Нас, может быть, всего только тысяча человек <...>, но вся Россия жила лишь пока для того, чтобы произвести эту тысячу. Скажут — мало, вознегодуют, что на тысячу человек истрачено столько веков и столько миллионов народу. По-моему, не мало <...> — Я эмигрировал <...> и мне ничего было не жаль назади. Все, что было в силах моих, я отслужил тогда в России, пока в ней был; выехав, я тоже продолжал ей служить, но лишь расширив идею. Но служба так, я служил ей гораздо больше, чем если бы я был всего только русским, подобно тому, как француз был тогда всего только французом, а немец — немцем <...> Заметь себе, друг мой, странность: всякий француз может служить не только своей Франции, но даже и человечеству, единственно под тем условием, что останется наиболее французом <...> Один лишь русский <...> получил уже способность становиться наиболее русским именно лишь тогда, когда он наиболее европеец. Это и есть самое существенное национальное различие наше от всех <...>. Я во Франции — француз, с немцем — немец, с древним греком — грек и, тем самым, наиболее русский, тем самым я — настоящий русский и наиболее служу для России, ибо выставляю ее главную мысль. <...> Я тогда эмигрировал, но разве я покинул Россию? Нет, я продолжал ей служить. Пусть бы я и ничего не сделал в Европе, пусть я ехал только скитаться <...>, но довольно и того, что я ехал с моею мыслью и с моим сознанием. Я повез туда мою русскую тоску <...> Русскому Европа так же драгоценна, как Россия: каждый камень в ней мил и дорог. Европа так же была отечеством нашим, как и Россия. О, более! Нельзя более любить Россию, чем люблю ее я, но я никогда не упрекал себя за то, что Венеция, Рим, Париж, сокровища их наук и искусств, вся история их — мне милее, чем Россия. О, русским дороги эти старые чужие камни, эти чудеса старого Божьего мира, эти осколки святых чудес; и даже это нам дороже, чем им самим! У них теперь другие мысли и другие чувства <...> Одна Россия живет не для себя, а для мысли, и согласись, мой друг, знаменательный факт, что вот уже почти столетие как Россия живет решительно не для себя, а для одной лишь Европы! А им? О, им суждены страшные муки прежде чем достигнуть царствия Божия».

В этом взволнованном монологе, совмещающем самораскрытие с форму-

лировкой-раскрытием «высшей русской идеи», в этом эйфорическом прорыве к сердцу как бы заново сейчас обретаемого сына, в связи с рассматриваемой здесь темой важны не горячность, чадность и неизбежно связанные с ними перехлесты чувства, «возмущающего», хотя бы отчасти, главную мысль, и не буквальность формы выражения ее, но именно сама эта мысль, представленная, несмотря на все это, и очень ясно и очень выпукло. — Есть высшая культурная идея, и носитель этой понимаемой как главное богатство идеи — тот высший культурный тип, который веками складывался в России, та «тысяча», о которой говорит Версиров. Этот тип — русский, но он шире, больше и глубже «русского» и России, потому что он готов к отречению от «своего» во имя другого, «всемирного», во имя истины. Принадлежать к этой «тысяче» и считать себя русским можно только в том случае, если стать европейцем (и даже «наиболее европейцем»), потому что максимум «русского» совпадает с максимумом «европейского». Эта высшая культурная идея — в преодолении национального эгоизма, в аскетическом, жертвенном отказе от преимуществ, в способности чувствовать чужую боль, сострадать ей, отзываться на нее, где бы она ни была («всемирное боление за всех»), в желании и умении понять «другого» (в идеале — всех) — будь то петролейщики, поджигатели Тюильри, или их «отомстители», — и, следовательно, также и самого себя (проблема самопознания), наконец, в сознании конца старого мира и предощущении грядущих катастроф.

Вне этого контекста и следствий, из него вытекающих, трудно понять и смысл расцвета русской культуры начала века, его размах и формы, его провиденциально-телеологическую доминанту. И многим позже *de profundis* голос поэта скажет об этом пороговом времени —

Наше было не кончено дело,
 Наши были часы сочтены,
 До желанного водораздела,
 До вершины великой весны,
 До неистового цветенья
 Оставалось лишь раз вздохнуть...

И все-таки время успело явить свое главное, приоткрыв новые духовные горизонты. Вскоре они исчезли во тьме ночи, но это явленное стало тем пламенем, отблески которого не могла объять эта тьма. Именно они будили память, вселяли надежду, поддерживали и укрепляли веру. Будущее, которое отбрасывало свою тень на то настоящее, окрашивая его в цвета тревоги, неопределенности, апокалиптичности, оказалось и той, подобной Софии, «божественной художницей», которая раскрыла логосные смыслы т о г о настоящего: то, что ранее казалось разрозненным, случайным, не имеющим или не обозначившим цели, в свете будущего явилось как цельная картина, в которой все связано и целевой вектор которой обозначен недвусмысленно. Именно из этого их «прошлого» будущего, обживаемого нами как н а ш е настоящее, познается необходимая связь этого расцвета русской культуры и судьбы России или, в более узком и личном плане, жизни Н. С. Трубецкого и его дела и смысла «русской идеи», историко-софского предназначения, как сказал бы он сам, «русского элемента» в мировой культуре.

Николай Сергеевич Трубецкой принадлежал к тому поколению, чья жизнь была расколота надвое революцией (а задним числом и мировой войной). В этой первой короткой части жизни лучшие люди этого поколения, чьи имена навсегда останутся в книге русской культуры, успели заявить о своих великих возможностях, как правило, очень рано. Значение этого поколения именно в том, что оно (за немногими исключениями) было последним, которое успело сказать свое свободное слово. О творческих потенциях этого поколения можно судить хотя бы по тому, что на рубеж 80—90-х годов приходится рождение Ахматовой и Нижинского (1889), Пастернака и Трубецкого (1890), Мандельштама, Михаила Чехова и Прокофьева (1894), Цветаевой (1892) и многих других творцов русского духовного возрождения начала XX в. В этом списке имена писателей и деятелей искусства резко преобладают над именами ученых, и такое соотно-

12
шение далеко не случайно: дело не только в том, что ученые, как правило, становятся известными в более продвинутом возрасте (поэтому остается только гадать, скольким выдающимся сверстникам перечисленных выше деятелей литературы и искусства был перекрыт путь в науку), но и самим характером культуры начала века, требовавшим богатства художественных способностей, интуиции, иррациональных способов постижения мира. Оказавшись «на том берегу», Трубецкой стал великим ученым (на первом Международном Конгрессе языковедов Мейе, указывая на Трубецкого, сказал: «Он — сильнейшая голова современного языкознания». «Сильная голова», — подтвердил кто-то. — «Сильнейшая», — настойчиво повторил Мейе). Останься Трубецкой в России, он едва ли сохранил бы свою жизнь (характерна судьба высоко ценимого Трубецким лингвиста Е. Д. Поливанова, оставшегося в России), и уж во всяком случае путь в науке был бы для него закрыт. К счастью, этого не произошло, но, к несчастью, «компенсация» была найдена в том, что для русского читателя путь к Трубецкому практически был перекрыт, и в относительно полном объеме Трубецкой возвращается к нам только сейчас, полвека спустя после его смерти (правда, в 1960 г., через двадцать с лишним лет после появления «Grundzüge der Phonologie» вышел русский перевод этой весьма специальной и рассчитанной только на лингвистов книги). Именно поэтому нелишне напомнить вкратце о жизненном пути Н. С. Трубецкого, опираясь, в частности, на его автобиографические заметки в передаче их Р. О. Якобсоном.

Николай Сергеевич Трубецкой родился 16 апреля 1890 г. в Москве. Его отец князь Сергей Николаевич принадлежал к одной из самых родовитых и просвещенных семей России. Обстановка в семье была исключительно благоприятна для раннего и всестороннего развития. О ней можно судить по описаниям брата Сергея Николаевича — известного философа Евгения Николаевича Трубецкого (см. «Воспоминания». София, 1921 и «Из прошлого». Вена, 1925). Надо думать, что такой же, но с изменениями, связанной с условиями московской жизни, была и домашняя обстановка, окружавшая в детстве Николая Сергеевича. Отец его, князь Сергей Николаевич, был знаменитым религиозным философом, занимавшимся широким кругом проблем, профессором Московского университета, а с бурной осени 1905 г. и его ректором (редкий случай избрания в таком молодом возрасте, но ректорство продолжалось только 27 дней и было прервано смертью). Сергей Николаевич Трубецкой представлял собой и замечательный тип русского общественного деятеля либерально-гуманистического направления (за это он неоднократно становился объектом нападок Ленина). В 1905 г. С. Н. Трубецкой становится уже и политической фигурой: он возглавляет депутацию общественных деятелей, которая была принята Николаем II. Похороны С. Н. Трубецкого стали большим общественным событием, и Москва надолго запомнила их. Кажется, никто не ставил вопроса о том, существуют ли какие-нибудь связи между идеями сына и философским наследием отца. Здесь тоже, разумеется, нет возможности обсуждать этот вопрос, и, пожалуй, достаточно высказать мнение о несомненном существовании такой связи, проявляющейся в разных формах: с о д н о й стороны, Сергей Николаевич в юности прошел через соблазны радикализма, атеизма, позитивизма (Конт, Спенсер) и успешно преодолевает их, обратившись к Хомякову, Достоевскому, позже — к Вл. Соловьеву; сыну он передал иммунитет против искушений этого рода; с д р у г о й стороны, ранние антропологические интересы, исследования проблемы личности, размышления над «соборной природой познания», «вселенским сознанием», рассматриваемым как «универсальный субъект», некоторые гносеологические идеи, несомненно, были учтены сыном уже в первой его книге 1921 г.

Однажды Николай Сергеевич написал, что жизненный срок очень короток и что нужно спешить собрать все, что можно с духовной нивы, чтобы не опоздать. Вероятно, эта мысль возникла или утвердилась как вывод из ранней смерти отца, который, будучи в расцвете творческих сил, действительно, не успел сделать многого, и, возможно, как в случае Юрия Живаго (параллель, имеющая, может быть, реальные корни), — из собствен-

ных интуиций относительно своих жизненных ресурсов. Так или иначе, но уже с 13 лет можно говорить о вполне осознанном интересе к этнографии, этнологии, фольклору и начале научной работы на материале финно-угорских языков (знание русской фольклорной традиции и интерес к ней предполагаются очевидными). С 1904 г. устанавливается регулярная связь с научным миром Москвы: Николай Сергеевич регулярно посещает заседания Московского Этнографического общества и устанавливает личные контакты с В. Ф. Миллером, знаменитым знатоком русского фольклора и одним из лучших иранистов своего времени. Еще более тесными были отношения с С. К. Кузнецовым, известным археологом, изучавшим ареал поволжских финнов. Под его влиянием Николай Сергеевич обратился к изучению финно-угорского фольклора и соответствующих языков. Эти занятия привели к публикации в 1905—1906 гг. двух статей пятнадцатилетнего автора — об одном языческом похоронном обряде, отраженном в финской народной песне, и о сохранившихся в северо-западной Сибири, в народных верованиях вогулов и остяков (также и удмуртов), следов культуры Золотой Бабы, о котором сохранились сведения в записях старых путешественников. И третья публикация была посвящена финно-угроведческой теме (рецензия на книгу Мансикки «Das Lied von Ogoi und Novatitsa»). Эта тематика продолжалась и в последующих работах — от заметки-резюме о стихе восточно-финских песен (1914) до статей о мордовской фонологической системе в сравнении с русской (1932) и о структуре мордовских мелодий (1933). Позднее, когда «финно-угорское Общество» избрало Трубецкого своим членом-корреспондентом, в благодарственном письме Микколе от 19 декабря 1933 г. он писал: «Интерес к угро-финским народам, к их быту языку и духовной культуре пробудился у меня очень рано, почти в детские годы, мои первые опыты научной работы были посвящены именно угро-финской этнографии <...> интерес к угро-финнам никогда во мне не умирал и всегда оставался моей — если можно так выразиться, — „первой научной любовью“» (несколько далее в этом же письме его автор вспоминает, что еще гимназистом пятого класса он увлекался Калевалой и угро-финской этнографией и, видимо, в связи с этим был знаком с Мансиккой; из другого письма тому же корреспонденту следует, что с мордовским языком Трубецкой был знаком уже с 15 лет). Финно-угорские народы оказались для юного ученого первым и ближайшим д р у г о м, попавшим в орбиту его внимания, интереса, положительно-приемлющего отношения и соотносимым с Я, русской духовной культурой в ее, как это станет вскоре очевидным, л и ч н о м и л и ч н о с т н о м понимании. Но занятия в этой области имели и другие следствия: по признанию ученого, они способствовали пробуждению в нем, некоторое время спустя, серьезного интереса к теоретическому языкознанию (можно добавить: столь естественно возникающему при сопоставлении двух разных языковых типов, в этом случае — русского (славянского) и финно-угорского).

В 1907 г. два новых, очень разных и очень «экзотических» объекта привлекли внимание Трубецкого. Общей для них чертой была их изолированность и в отличие от финно-угорских языков, культур, народов, периферийность по отношению к «русскому элементу», более того, не просто периферийность, но «дальне-периферийность». Молодой ученый принимает некое максималистское решение — нащупать крайние варианты евразийских языковых и этнокультурных типов, с которыми так или иначе соприкасается русский язык и русский культурный тип. В этом году внимание Трубецкого обращается к палеоазиатским языкам Восточной Сибири и к кавказским языкам. Поражает то, с каким размахом и продуманностью ведется работа. По совету того же С. К. Кузнецова Трубецкой начинает с собирания сведений о камчадалском (ительменском) языке в отчетах о ранних путешествиях на Камчатку. На основе этих материалов составляется словарь и краткий грамматический очерк языка. Возникает потребность в расширении материала. Трубецкой обращается с просьбой о консультации к Йохельсону, Богоразу, Штернбергу, трем специалистам по палеоазиатским языкам. «За последнее время я много занимался сравнением арктических языков с угро-финскими и самоедскими, — пишет Тру-

бежкой В. Г. Богоразу. — Ввиду того, что сравнение это оказалось довольно плодотворным (ср.: «I discovered a series of striking correspondences...» в „Автобиографических заметках“), я хотел продолжить его, но должен был остановиться вследствие недостатка материала. Я обратился к Л. Я. Штернбергу с просьбой указать мне материал по гилицкому и айнскому языкам и к В. И. Иохельсону с такой же просьбой относительно языков, коряцкого, чукотского и юкагирского. Оба они отнеслись к моим просьбам очень внимательно, указали литературу предмета, а В. И. предложил мне даже составить список юкагирских слов <...> я пишу к Вам с просьбой: не можете ли Вы указать мне известную Вам литературу по языкам чукоцко-коряцкой группы <...>» (сравнительные материалы Трубецкого в 60-х годах были найдены Г. Г. Суперфином). Когда Богораз приехал из Петербурга в Москву и нанес визит своему корреспонденту, он был поражен, встретив школьника («einen Schulknaben»). Приготовления к экзаменам, к сожалению, прервали эти, видимо, очень плодотворные занятия, которые в это время еще не привлекали к себе серьезного внимания со сравнительно-исторической точки зрения, но следы этих занятий встречаются в более поздних работах Трубецкого, правда, скорее уже в синхроническом плане, к которому относится ряд важных наблюдений относительно фонологии этих языков и ареальном распространении сходных явлений.

Вторым (одновременным) увлечением этого года были кавказские языки и фольклорные традиции. Собственно, с последних и начался интерес Трубецкого к кавказоведению: в 1908 г. появляется статья о кавказских параллелях к фригийскому мифу о рождении из камня (= земли), как бы реализующая идею лекции В. Ф. Миллера о значении кавказского языкознания для исторической этнологии Малой Азии, произведшей на Трубецкого большое впечатление; в 1911 г. публикуется статья о Редеде на Кавказе. Но вскоре, несмотря на интерес «к истории культуры, социологии, философии культуры и философии истории», о чем сообщает позже Трубецкой, он начинает заниматься прежде всего самими кавказскими языками «for their own sake». Результаты этих занятий, продолженных и опубликованных уже в 20-х — начале 30-х годов (одна работа была опубликована посмертно в 1964 г.), весьма значительны и носят пионерский характер. По мнению крупнейшего современного специалиста в этой области, «Н. С. Трубецкого по праву можно назвать основоположником сравнительно-исторического изучения севернокавказских (и особенно восточнокавказских) языков» (С. А. Старостин). Ценность этих работ, относящихся к фонетике, глаголу, словарным сопоставлениям, иранским заимствованиям, общей характеристике строя восточнокавказских языков свое значение сохраняют и по сей день, несмотря на многочисленные более поздние работы, естественно, внесшие коррективы в выводы Трубецкого. Что же касается его ранних работ в этой области, то они утрачены (хотя есть сведения, что перед войной их видели в библиотеке Ростовского университета), и об общем их характере можно судить по словам Трубецкого в его письме И. Шишманову от 27 апреля — 10 мая 1920 г.: «Последними (кавказскими языками. — В. Т.) я занимался особенно усиленно, еще студентом два раза ездил на Кавказ с специальной целью собирания лингвистических материалов. Мною записано большое количество черкесских текстов, составлена черкесская грамматика и словарь, я приступил к сравнительной грамматике языков Северного Кавказа, вполне отделив сравнительную фонетику восточно-кавказских (лезгино-чеченских) языков. К сожалению, всех этих работ мне не удалось напечатать, в силу дороговизны печатания и сложности специального набора, а при бегстве из Ростова все мои рукописи пришлось оставить там, правда сдав их на хранение в библиотеку Университета». Но репутация Трубецкого как кавказоведа была такова, что именно ему уже в 20-е годы Мейе и Коэн заказывают раздел о севернокавказских языках для такого престижного издания, как «Les langues du monde».

А тем временем юноша, погруженный в самостоятельное изучение и исследование финно-угорских, палеоазиатских, северно- и восточнокавказ-

ских языков и соответствующих культурных традиций, всего только «Schulkaabe», гимназист, в 1908 г. экстерном кончивший 5-ю мужскую гимназию, на углу Поварской и Молчановки, в доме князя Голицына. Здесь он мог видеть своего сверстника Пастернака и младшего тремя годами Маяковского, учившихся в этой же гимназии. Позже, в конце своей жизни, в «Любях и положениях» Пастернак оставил ценные сведения об этом (также и университельском) в силу обстоятельств мало известном периоде жизни Н. С. Трубецкого и людей, с ним связанных: «В следующем году я окончил Московский университет. Мне в этом помог Мансуров, оставленный при университете молодой историк. <...> Мансуров был родней и другом молодого Трубецкого и Дмитрия Самарина. Я их знал по Пятой гимназии, где они ежегодно сдавали экзамены экстернами, обучаясь дома. Старшие Трубецкие, отец и дядя студента Николая, — были — один профессором энциклопедии права, другой ректором университета и известным философом. Оба отличались крупной корпуленцией и, слонами в скрутках без талий взгромоздясь на кафедру, тоном упрощения глуховатыми, аристократически картавыми, клянчащими голосами читали свои замечательные курсы. Сходной породы были молодые люди, неразлучною тройкой заглядывавшие в университет, рослые даровитые юноши со сросшимися бровями и громкими голосами и именами. В этом кругу была в почете Марбургская философская школа. Трубецкой писал о ней и посылал туда наиболее одаренных учеников совершенствоваться. Побывавший там до меня Дмитрий Самарин был в городке своим человеком и патриотом Марбурга. Я туда отправился по его совету. ... Я не знаю, что случилось с Мансуровым, а знаменитый филолог Николай Трубецкой прославился на весь мир и недавно умер в Вене». Пастернак не знал, что в 30-е годы Трубецкой в переписке с Якобсоном обращался к его творчеству («Мысли, изложенные в Вашей статье о Пастернаке, очень ценны, и жалко, что они недостаточно разработаны», письмо от 25 мая 1936 г.), хотя и сильно ошибался в его оценке, отдавая первенство Маяковскому. Трубецкой же, естественно, не мог знать, что *Ворота с полукруглой аркой. / Холмы, луга, леса, осы. / В ограде мрак и холод парка. / И дом невиданной красы* — это описание усадьбы Трубецких в Узком, под Москвой, что в этом доме, где летом 1900 г. скончался Вл. Соловьев, друг семьи Трубецких, почти шестьдесят лет спустя окажется его однокурсник и однокурсник Пастернак, который и опишет этот «дом невиданной красы» и позволит, [между прочим, заглянуть в обстановку, окружавшую некогда, в начале жизни, Трубецкого. Значение подобных свидетельств велико и само по себе, и тем более, что сведения о московском периоде жизни Трубецкого очень скудны и кое в чем недостоверны. Мы не знаем слишком многого о нем, что обязаны были бы знать просто в силу тех закономерностей, которые в нормальных условиях контролируют сохранность информации о людях такого общественного положения. Но железный занавес, опустившийся над Россией, изменил все: одно уничтожил, другое разъединил, третье лишил естественной исторической памяти. Пишущий эти строки счастлив, что в студенческие годы слышал рассказ своего учителя Михаила Николаевича Петерсона о Трубецком, вместе с которым они были оставлены при кафедре В. К. Поржезинского (существенным было упоминание об интересных идеях Николая Сергеевича в области пракритской просодии), а позже рассказы Р. О. Якобсона (в частности, о том, как после окончания лекции они провожали друг друга до дому (Николай Сергеевич жил в это время в Б. Афанасьевском пер., в доме Орлова, кв. № 3, а Якобсон — в доме Стахеева на Мясницкой, где она впадает в Лубянскую площадь) и не могли расстаться, захваченные обсуждением научных тем) и П. Г. Богатырева. Тема московского периода в жизни Трубецкого ждет своего исследователя.

В 1908 г. Трубецкой поступает в Московский университет. Структура разных факультетов и отделений, как кое из которых имело свою строго фиксированную программу, не допускавшую ни изменений, ни возможности комбинации с другими программами, поставила перед Трубецким проблему выбора достаточно жестко. Позже он расскажет, что его интересы

в области этнографии и этнологии делали бы естественным его поступление на кафедру Д. Н. Анучина, но здесь акцент ставился на естественно-историческом аспекте этих наук, а Трубецкого привлекали, наоборот, филологический и гуманитарный аспекты их, и он вынужден был поступить на историко-филологический факультет, сначала на философско-психологическое отделение, где изучал этнопсихологию, историю философии и методологические проблемы. Но вскоре пришло понимание, что сфера главных интересов лежит в иной области, и в третьем семестре Трубецкой переходит на лингвистическое отделение, возглавляемое Поржезинским (общее языкознание, индоевропеистика, санскрит), преемником Ф. Ф. Фортунатова. В центре внимания на отделении находились славянские и балтийские языки; изучались также греческий, латинский, готский, древневерхненемецкий. Объем преподаваемого и направление преподавания разочаровали Трубецкого — тем более, что главный его интерес лежал вне индоевропеистики. И все-таки был сделан именно этот выбор. Основания такого выбора были позже названы самим Трубецким. Прежде всего уже к этому времени у него созрело убеждение, что языкознание — единственная из «антропологических наук, которая располагала подлинно научным методом», тогда как этнология, история религии, история культуры и т. п. в отношении метода находятся на „алхимической“ стадии развития и должны следовать примеру лингвистики». Далее, Трубецкой сознавал, что индоевропеистика была наиболее разработанной областью компаративистики и именно на ее материале лучше всего изучать «правильный лингвистический метод». Поэтому основные усилия направлялись на прилежное изучение программы отделения. Однако интерес к кавказоведению не только не уменьшился, но дополнительно стимулировался В. Ф. Миллером, пригласившим в 1911 г. молодого студента провести часть летних каникул в его имении на кавказском побережье Черного моря. Приглашение было принято, и в 1911—1912 гг. Трубецкой усиленно собирал материалы по черкесскому языку, надеясь заняться их обработкой после окончания университета. Личные контакты с Миллером были очень полезны, хотя и в этом случае Трубецкой отмечает, что лингвистические взгляды его покровителя были «somewhat antiquated». В течение 1912—1913 академического года была подготовлена диссертация о формах будущего времени в основных индоевропейских языках. Она получила одобрение Поржезинского, и Трубецкой был единодушно рекомендован для оставления при университете. Весной 1913 г. состоялась поездка в Тбилиси, где для участников съезда естествоиспытателей, географов и этнографов Трубецким были прочитаны три лекции — об остатках языка черкесов Черноморского побережья, о северокавказских легендах о похищении огня и о морфемной структуре глагола в восточнокавказских языках. Летом этого же года шла усиленная работа над материалами по черкесскому языку и над сравнительной грамматикой северокавказских языков. В конце 1913 г. Трубецкой был послан в Лейпцигский университет, один из главных центров тогдашней индоевропеистики. Он слушал лекции Бругмана, Лескина, Виндиша, Линднера, посещал семинары, уделяя основное внимание специализации в санскрите и авестийском. Книжные «богатства» также привлекали Трубецкого: после поездки, по его словам, его библиотека удвоилась. Несомненно, что значительно была польза для молодого ученого и от научных контактов: можно напомнить, что в этот последний предвоенный академический год в Лейпциге вместе с Трубецким учились будущие знаменитые лингвисты Л. Блумфилд, Л. Теньер и др. На летний семестр 1914 г. Трубецкой планировал занятия в Геттингене, но по личным обстоятельствам должен был вернуться в Россию незадолго до начала мировой войны.

Вернувшись в Москву, в течение 1914—1915 гг. Трубецкой готовился к доцентуре. Программа подготовки по сравнительному языкознанию и санскриту была в это время очень обширной, разносторонней и сложной. Она включала в себя пять экзаменов — по сравнительно-исторической грамматике индоевропейских языков, санскриту, греческому, латинскому и одному из других индоевропейских языков (по выбору автора). Эк-

заменяющемуся предлагалось значительное число вопросов (так, только по индоевропеистике их было 25, причем каждый присутствующий на экзамене имел право задавать другие вопросы). У Трубецкого экзамен принимали Поржезинский и тогдашний декан А. А. Грушка, присутствовали же М. М. Покровский, Р. Ф. Брандт, В. Н. Щепкин. К экзамену необходимо было прочитать, перевести и прокомментировать (лингвистически, филологически, критически-текстологически, культурно-исторически, сравнительно-исторически) значительное количество текстов на разных древних языках. Достаточно назвать объем санскритской программы, чтобы понять, что в истории русской университетской индологии никогда ничего подобного не случалось. Трубецкой должен был проанализировать 25 гимнов из Вед, три обширных эпизода из эпоса («Наль» и «Савитри» из «Махабхараты», «Битва обезьян» из «Рамаяны»), две драмы Калидасы («Викраморваши» и «Малаялика и Агнимитра») с особенным вниманием к пракритским частям, прозаические тексты («25 рассказов Веталы»). Экзамен продолжался весь зимний семестр 1915—1916 гг. и был заключен двумя публичными лекциями — о разных аспектах ведийских исследований и о проблеме реальности праязыка и современных методах реконструкции. Став в 1915 г. приват-доцентом Московского университета и начав со студентами занятия по сравнительному языкознанию, Трубецкой планировал для себя на следующий год усиленные занятия авестийским и древнеперсидским, не преподававшимися в университете. Несомненно, он учитывал в этих планах роль «иранского элемента» в русской (и славянской) духовной культуре. Но строя эти планы, Трубецкой не знал, что вскоре они будут опрокинуты, и более важные проблемы станут в центре его интересов.

Выход в свет в 1915 г. шахматовского «Очерка древнейшего периода истории русского языка» имел для лингвистической биографии Трубецкого, как писал он сам об этом, великое значение. И это значение определялось не столько положительными особенностями книги, сколько ее методологическими просчетами, в широком смысле характеризовавшими фортунатовскую школу, виднейшим представителем которой в это время был Шахматов. Осознание этих просчетов и находимые Трубецким пути преодоления их и были тем новым и положительным, что определяло позицию молодого ученого, никогда до этого не занимавшегося специально ни русистикой, ни славистикой. Трубецкой решается на смелый шаг, о чем позже он напишет в своих автобиографических заметках: «Все дефекты метода реконструкции, унаследованные школой Фортунатова (Москва), выявились с особой ясностью в этой книге. Это несовершенство произвело на меня очень сильное впечатление, поскольку я всегда был весьма заинтересован в вопросах методологии. Я написал подробный критический обзор книги, который я прочитал на заседании Московской Диалектологической Комиссии. Мой доклад произвел эффект взорвавшейся бомбы. Вплоть до того времени фортунатовская школа господствовала в московском кругу, и все московские лингвисты принимали догмы и методологические принципы этой школы безоговорочно. Развернулись оживленные дебаты, в которых представители более старого поколения лингвистов полемизировали против моих взглядов и старались защитить шахматовские методы, тогда как более молодое поколение было на моей стороне. Я полагаю, что мой доклад имел решающее значение для дальнейшего развития лингвистической науки в Москве. Это было первым выражением поворота от фортунатовского метода реконструкции. Многие заключили из этого, что лингвистическая реконструкция вообще безнадежное предприятие и отвернулись полностью от исторического языкознания. <...> Для меня же самого, однако, дискуссия, которая возникла из моего доклада, имела совсем другое значение. Решив, что метод, используемый Ф. Ф. Фортунатовым, А. А. Шахматовым и другими последователями, оказался несостоятельным, я просто сделал вывод, что нужно искать более подходящий метод исторического языкознания и лингвистической реконструкции. Я сделал своей задачей поиск такого метода. Так как книга Шахматова, которая убедила меня в несостоятельности старого метода, была посвящена сла-

вянским языкам, мое внимание обратилось именно к этим языкам. <...> Теперь славянские языки вышли на передний план. Я решил написать книгу под названием „Праистория славянских языков“, и в ней я предполагал продемонстрировать процесс развития отдельных славянских языков из праславянского и праславянского из индоевропейского с помощью усовершенствованного метода реконструкции».

Этот прорыв в новую область (сравнительно-историческая грамматика славянских языков), к новому материалу (славянские языки), к новым методам реконструкции и отчасти, видимо, уже к некоторым новым результатам (о них можно судить по ранним письмам к Якобсону) фиксирует не только новую позицию ученого и новый круг его интересов, но и новый уровень лингвистического теоретического мышления. Круг исследований «других» языков и культурных традиций в самый канун революции возвращает ученого к «своему» — к славянским языкам и — в известной степени — прежде всего к русскому языку. Последнее слово, последнее научное начинание относилось к роковому в истории России периоду. Оно сулило очень многое, но революционный хаос не позволил довести работу до конца, хотя в известной степени о ней можно судить как по отдельным свидетельствам самого Трубецкого, так и по его более поздним статьям, связанным с этой темой.

Уже с лета 1917 г. Трубецкой вырван из привычной московской обстановки, и его собственные планы сначала как бы подхватываются революционной стихией, но почти сразу же искажаются и отбрасываются. Выехав летом 1917 г. с научными целями на Кавказ, вскоре он оказывается странником, гонимым обстоятельствами, терпящим все неурядицы и бедствия того времени. «Между прочим, во время моих странствий по Кавказу, — пишет Трубецкой в письме к Якобсону от 12 декабря 1920 г., — я как-то раз попал в Баку в марте 1918 г., как раз во время „восстания мусульман против советской власти“, точнее — в тот недолгий промежуток времени, когда армяне резали татар. Я там был один, бедствовал, заболел тифом и, выйдя из больницы, долго мыкался, чтобы достать разрешение на выезд». Потом — Кисловодск и Ростов, отсутствие условий для работы, сознание своей научной изоляции и непреодолимая тяга к тому, чтобы записать те свои идеи, которые были высказаны при обсуждении книги Шахматова, и оформить первые конкретные результаты. В том же письме Якобсону: «Вообще я страшно изголодался в научном отношении. После все-таки весьма интенсивной научной жизни Москвы за последние годы я попал сначала в абсолютную глушь Кисловодска, а потом в Ростов, где, несмотря на существование университета (в котором я был доцентом и занимал кафедру сравн. языковед.), никакой научной жизни не было и не с кем было и слова промолвить. <...> Я начал еще в Кисловодске писать диссертацию на тему „Опыт праистории славянских языков“. Это — следствие моего реферата о „Методе восстановления общеславянского праязыка в Очерке акад. А. А. Шахматова“, который я читал в Диалектологической Комиссии. Я попытался восстановить историю создания и распада общеслав. праязыка на основании того метода, который я в этом реферате противопоставлял Шахматовскому. Получилась картина довольно интересная. С догмой „Московской Школы“ пришлось порвать довольно решительно. <...> Если моя работа когда-нибудь будет напечатана, она, вероятно вызовет ожесточенные нападки со стороны не одних только „москвичей“. И все-таки, там есть кое-какие мысли, которые, надеюсь, получат общее признание. Писать мне было, конечно, очень трудно, ибо книг я с собой захватил мало, а библиотека Ростовского Университета представляла из себя по моей части почти Торичеллеву пустоту. Все же, в общих чертах я закончил фонетику и наметил морфологию. Но тут пришлось эвакуироваться из Ростова, и при эвакуации все мои рукописи и книги остались там. Удалось вывезти только несколько тетрадок с заметками. Теперь я занят восстановлением своей работы. <...> Во всяком случае, даже если в ближайшее время напечатать ничего и не удастся, я все-таки буду продолжать работать».

В письмах 1921 г. Трубецкой не раз обращается к изложению общего

плана утраченной работы, ряда наиболее интересных идей и результатов, полученных с помощью нового метода реконструкции. Кроме соответствующих фрагментов писем пять-семь статей непосредственно отражают отдельные части «Опыта праистории», а еще полтора десятка работ (преимущественно 20-х годов) так или иначе относятся к сравнительно-историческому объяснению фактов отдельных славянских языков на почти всегда присутствующем общеславянском и праславянском фоне. Наиболее важное значение имеют исследования о звуковых изменениях русского языка и распаде общерусского языкового единства, об истории задненебных, о возникновении общезападнославянских особенностей в области консонантизма, о трактовке *tl, dl* в славянских языках, о носовых гласных в лехитских языках, об отражении *ǣ* в чешском, о первоначальном характере праславянских интонаций, об остатках исчезнувших грамматических категорий в праславянском и т. д.

Значение этих работ для сравнительно-исторического славянского языкознания очень велико. Вместе с яacobсоновскими «*Remarques*» (1929) они задали тот уровень исследования, который и сейчас оказывается максимальным в теоретическом плане и, не считая ряда работ, прежде всего в области интонации, не превзойден и в плане практических результатов. Новизна, неожиданность, парадоксальность ряда конкретных открытий, обязанных удивительной изобретательности Трубецкого и редкой непредвзятости, поставили в тупик большинство ведущих специалистов того времени, оказавшихся неспособными к восприятию новых трактовок. Поэтому есть все основания говорить о том, что работы этого цикла не были оценены по достоинству при их появлении, и даже позже многие писавшие на эти же темы не извлекли уроков из этих работ, заложивших основы нового этапа в изучении праславянского языка, методов его реконструкции и сравнительно-исторического изучения славянских языков. Определяя вкратце и в общем методологическое значение этих работ, можно назвать несколько основоположных идей, определяющих уровень, задаваемый исследователем: стремление за эмпирическим многообразием фактов увидеть по возможности единое глубинное изменение, лежащее в основе многообразия на поверхности; — конститутирование на этой основе (инвариант и варианты, понятие «позиции» и т. п.) идеи системности, причем на определенном уровне сам принцип системности становится внутренним критерием достоверности достигнутых конкретных результатов; — признание возможности нескольких непротиворечивых решений проблемы; — различение автономной «интерпретационной схемы» (см. В. А. Дыбо) и непосредственных результатов применения сравнительно-исторической процедуры; — понимание исследования праистории общеславянского языка и истории конкретных отдельных славянских языков как построение пространственно-хронологических моделей соответствующих процессов (прежде всего фонетических); — связанное с построением таких моделей внимание к лингво-географическому и хронологическому моментам.

«Внимание» к названным моментам было не абстрактным, но весьма конкретным и связанным с вторжением в сферу «священных» установлений, в чем отдавал себе отчет и Трубецкой. Кроме того, это вторжение было не просто нарушением некоего табу или правил хорошего тона, но приводило к разрушению принятых догм и существенно иному видению праславянской «картины». «Впрочем, пришлось порвать и со многими другими догмами: достаточно Вам сказать, что концом общеславянской эпохи я считаю XII в. и что не признаю в общеслав. праязыке носовых гласных», — пишет Трубецкой Яacobсону 12 декабря 1920 г., а в письме от 1 июня 1923 г. тому же адресату — краткое резюме тех идей, которые он развивал в своих лекциях по исторической грамматике русского языка, «Впрочем, я набросал статью о хронологии некоторых фонетических явлений древнерусского языка. (...) Думаю, что статья будет небезынтересна, так как кое-что представляю в новом свете. Основная мысль: распадение древнерусского языка на наречия малорусское, белорусское и великорус-

ское было обусловлено не столько специальными диалектическими изменениями, не вышедшими за пределы данного наречия, сколько теми общерусскими явлениями, распространение которых с юго-запада на северо-восток шло очень медленно. К таким явлениям, кроме падения глухих и перехода *кы, гы, хы* > *ки, ги, хи*, отношу между прочим и упразднение музыкальных различий. Далее, устанавливаю, что явления, распространившиеся по древней Руси с юго-запада на северо-восток б. ч., были явлениями общими и некоторым другим славянским языкам, тогда как изменения, идущие с северо-востока на юго-запад носили специфически-русский характер (иногда может быть были отзвуками инородческого влияния) и не выходили за пределы восточного славянства». Легко понять, что эта картина уже несет в себе зародыши ряда других кардинальных теоретических идей — языкового смешения (в том же 1923 г. в «Евразийском Временнике» появляется статья Трубецкого «Вавилонская башня и смешение языков»), разноприродных языковых общностей и, в частности, «языкового союза», наконец, в пределе — снятия противопоставления «генетического» и «типологического», — осторожнее — роль «типологического» в сравнительно-историческом исследовании, т. е. то, что привлечет к себе внимание ученого несколько позже.

После шести лет войн, революций, невероятных трудностей, испытывав болезни, нужду, гонения, лишившись практически всех накопленных за полтора десятилетия научных занятий материалов, не напечатав за эти годы ни одной строчки своих трудов и никак не заявив об основном своем научном интересе прошедших пяти лет, в 1920 г. Трубецкой оказывается в Болгарии с твердым намерением работать. «Во всяком случае, даже если в ближайшее время напечатать ничего и не удастся, я все-таки буду продолжать работать. Устроился я здесь, нельзя сказать, чтобы очень блестяще. Не имея научной степени, а главное, печатных трудов по специальности, я не мог, конечно, получить здесь при университете ничего кроме доцентуры с весьма низким окладом (1500 левов). К тому же кафедры сравнительного языковедения здесь до сих пор еще не было, и ее учреждают только теперь, при чем титуляром будет, вероятно, Ст. Младенов», — сообщает о себе Николай Сергеевич в первом письме Якобсону из Болгарии. Основной курс Трубецкого «Введение в сравнительное языковедение с особым вниманием к главнейшим индоевропейским языкам» собрал трех слушателей. Чтение лекций, видимо, не отнимало много времени, и основное внимание было поделено между работой над статьями по славянскому сравнительно-историческому языковедению, восстанавливающими фрагменты утраченной во время беженства «Праистории», и историко-социальными темами, занимавшими Трубецкого, по крайней мере, в течение всех 20-х годов, и пока практически совсем не известными русскому читателю, исключая нескольких специалистов (именно поэтому было признано желательным дать читателю услышать «голос» Трубецкого в связи с этой проблематикой в широком объеме).

Тем не менее эта часть творческого наследия Николая Сергеевича должна быть признана очень важной, актуальной, значительной по своим идеям и позволяющей говорить о Трубецком как о выдающемся русском историкософе и культурологе, одном из основоположников того сложного концептуального комплекса, который обозначается как «евразийство» — обозначение, не покрывающее всего объема проблем, рассматриваемых автором. В центре всего этого комплекса — Россия, «русский элемент», взятые в «евразийском» контексте. Обращение к этой теме неслучайно. Оно подготовлено глубокими размышлениями всей той замечательной традиции, которая связывает Киреевских и Ходякова с русскими философами начала XX в. (можно напомнить о сборнике статей Бердяева «Судьба России» с ее ядром — «Душа России», 1915, ср. позднее его же «Русскую идею»), тем живым интересом к «русскому вопросу», который проявлялся отцом Николая Сергеевича и его дядей, и стремлением к конструктивному, справедливому, гуманному его решению (в разгар борьбы за такое решение Сергей Николаевич умер, и книга его памяти вышедшая в 1905 г., носила красноречивое название — «Князь С. Н. Трубецкой — первый борец за

правду и свободу русского народа. В отзывах русской повременной печати»), наконец, научными занятиями самого Николая Сергеевича и тем личным историческим опытом трех войн и трех революций, который вместился в полтора десятилетия между 1905 и 1920 гг.

В 1920 г. в Софии вышла книга Трубецкого «Европа и Человечество» (тогда же выходит предисловие Николая Сергеевича к переводу книги Уэллса «Россия во мгле»). Разъясняя смысл и назначение книги и предостерегая от неверных ее толкований в письме Якобсону от 7 марта 1921 г., Николай Сергеевич пишет: «Эта книга была задумана мною уже очень давно (в 1909—1910 гг.) как первая часть трилогии, носящей название „Оправдание национализма“. Первая часть должна была иметь заглавие „Об эгоцентризме“ и посвящалась памяти Коперника; вторая должна была называться „Об истинном и ложном национализме“ с посвящением памяти Сократа; третья, наконец, под заглавием „О русской стихии“ должна была посвящаться памяти Стеньки Разина или Емельки Пугачева. Теперь я заменил заглавие первой части более ярким „Европа и Человечество“ и опустил посвящение Копернику, как претенциозное. Назначение этой книги чисто отрицательное. Никаких положительных, конкретных руководящих принципов она давать не собирается. Она должна только свергнуть известные идола и, поставив читателя перед опустевшими пьедесталами этих идолов, заставить его самого пошевелить мозгами, ища выхода. Выход должен быть указан в последующих частях трилогии. В первой же части я предполагал только намекнуть на направление, в котором следует искать выхода. Я признаюсь, что сделал это плохо. Желая дать нечто законченное, я сказал в последней главе больше, чем нужно было, и вместе с тем ничего не сказал. Этим я только дал повод для недоразумений. Существенное в книге — это отвержение эгоцентризма и „эксцентризма“ (полагания центра вне себя, в данном случае, — на западе). И главное требование, вытекающее из этого, единственный возможный выход (точнее: направление к выходу) мною указан: это — революция в сознании, в мировоззрении интеллигенции нероманогерманских народов. Без этой революции никакой выход невозможен и, как я постараюсь показать ниже, то, что происходит сейчас, не есть выход, пока революции в сознании не произошло. Сущность революции в сознании состоит в полном преодолении эгоцентризма и эксцентризма, в переходе от абсолютизма к релятивизму. Это есть единственная надежная преграда на пути захватных стремлений романогерманской цивилизации. Понять, что ни „я“, ни кто другой не есть пуп земли, что все народы и культуры равноценны, что высших и низших нет, — вот все, что требует моя книга от читателя. Но, как сказано, это мало понять, это надо прочувствовать, выстрадать, этим надо вполне проникнуться. <...> Я хотел, чтобы моя книга поставила читателя перед пустым местом и заставила его поразмыслить над тем, чем эту пустоту наполнить. <...> Между тем наполнение пустоты предполагалось в последующих частях трилогии, причем это наполнение возможно лишь при условии полного проникновения читателя в реальность пустоты, полной революции в сознании, о которой я говорю. — Чем же наполнить пустоту? Я говорю в своей книге, что всякая оценка основана на эгоцентризме, и что поэтому *из науки* всякая оценка должна быть изгнана. Но в культурном творчестве, в искусстве, в политике, вообще во всяком роде *деятельности* (а не *теории*, каковою является наука) без оценки обойтись невозможно. Следовательно, известный эгоцентризм все-таки необходим. Но это должен быть эгоцентризм облагороженный, не бессознательный, а сознательный, связанный с релятивизмом, а не с абсолютизмом. Я нахожу его в сократовском принципе „познай самого себя“ или — что то же — „будь самим собой“. Всякое стремление быть не тем, чем я есть на самом деле, всякое „желание быть испанцем“, как говорит Козьма Прутков, — ложно и пагубно. „Познай самого себя“ есть принцип универсальный, абсолютный и вместе с тем относительный. Этим принципом и надо руководиться при оценке, безразлично идет ли дело об отдельном человеке или о народе. Все, что дает человеку или народу быть самим собой, — хорошо, все, что мешает этому, — дурно. Отсюда вытекает требование самобытной

национальной культуры. Это в свою очередь обуславливает различие между истинным и ложным национализмом. Национализм хорош, когда он вытекает из самобытной культуры и направлен к этой культуре. Он ложен, когда он не вытекает из такой культуры и направлен к тому, чтобы маленький по существу неевропейский (нероманогерманский) народ разыгрывал из себя великую державу, в которой все „как у господ“. Он ложен и тогда, когда мешает другим народам быть самими собой и хочет принудить их принять чуждую для них культуру. <...> Наш русский „национализм“ дореволюционного периода есть и то и другое. Истинный национализм предстоит создать. Это и есть выход. Направление к нему, — сначала упомянутая революция в сознании, затем творческая работа самопознания и самобытной культуры».

(В этом же письме содержится ряд рассуждений о вариантах будущего пути послереволюционной России, которых нет в книге. Эти рассуждения, как правило, весьма оригинальны, а иногда носят пророческий характер. Во всяком случае большинство затрагиваемых проблем актуальны и в наши дни. «Без этого (переворота в сознании интеллигенции. — В. Т.) все сейчас происходящее приведет лишь к усилению зла. Способны ли правители Советской России к такому перевороту — сомневаюсь. А потому смотрю на дело пессимистически».)

В заключение своей книги Трубецкой весьма рельефно и «жестко» формулирует выводы:

«Таким образом, весь центр тяжести должен быть перенесен в область психологии интеллигенции европеизированных народов. Эта психология должна быть коренным образом преобразована. Интеллигенция <...> должна понять вполне ясно, твердо и бесспорно:

что ее до сих пор обманывали;

что европейская культура не есть нечто абсолютное, не есть культура всего человечества, а лишь создание ограниченной и определенной этнической и этнографической группы народов, имевших общую историю;

что только для этой определенной группы народов, создавших ее, европейская культура обязательна;

что она ничем не совершеннее, не „выше“ всякой другой культуры, созданной иной этнографической группой, ибо „высших“ и „низших“ культур и народов вообще нет, а есть лишь культуры и народы более или менее похожие друг на друга;

что, поэтому, усвоение романогерманской культуры народом, не участвовавшим в ее создании, не является безусловным благом и не имеет никакой безусловной моральной силы;

что полное, органическое усвоение романогерманской культуры <...>, усвоение, дающее возможность и дальше творить в духе той же культуры нога в ногу с народами, создавшими ее, — возможно лишь при антропологическом смещении с романогерманцами, даже лишь при антропологическом поглощении данного народа романогерманцами;

что без такого антропологического смещения возможен лишь суррогат полного усвоения культуры, при котором усваивается лишь „статика“ культуры, но не „динамика“, т. е. народ, усвоив современное состояние европейской культуры, оказывается неспособным к дальнейшему развитию ее и каждое новое изменение элементов этой культуры должен вновь заимствовать у романогерманцев;

что при таких условиях этому народу приходится совершенно отказаться от самостоятельного культурного творчества, жить отраженным светом Европы, обратиться в обезьяну, непрерывно подражающую романогерманцам;

что вследствие этого данный народ всегда будет отставать от романогерманцев, т. е. усваивать и воспроизводить различные этапы их культурного развития всегда с известным опозданием и окажется, по отношению к природным „европейцам“, в невыгодном, подчиненном положении, в материальной и духовной зависимости от них;

что, таким образом, европеизация является безусловным злом для всякого нероманогерманского народа;

■ что с этим злом можно, а следовательно, и надо бороться всеми силами. Все это надо сознать не внешним образом, а внутренне; не только сознать, но прочувствовать, пережить, выстрадать. Надо, чтобы истина предстала во всей своей наготе, без всяких прикрас, без остатков того великого обмана, от которого ее предстоит очистить...» (Указ соч., с. 79—81).

Несомненно, что в книге обнаруживаются следы некоторой поспешности и неосторожности, которые гаят в себе возможности неправильно понимания сказанного и даже некоторых «националистических» соблазнов, в частности, «оценок» чужого и себя при сохранении «неподвижной» эгоцентричной точки зрения. Но своевременность этих мыслей и всей концепции «национализма» еще за несколько лет до мировой войны, революции и того, что за ними последовало, не вызывает никаких сомнений. Также заслуживает признания сама попытка введения этой темы в «антропологическую» проблематику, постановка ее на прочный не только исторический, но и культурно-исторический фундамент, умение связать научно-исследовательский и гуманно-нравственный аспекты проблемы. И особое внимание должно привлечь интуитивное предчувствие приближающихся катаклизмов (для 1910—1911 гг. — мировая война и революция, для 1920—1930 гг. — развитие событий в межвоенной Европе и вторая мировая война). Удивительны независимые друг от друга совпадения ряда важных мыслей в «Душе России» Бердяева и в книге Трубецкого и явное (у первого) и неявное (у второго) присутствие темы России. «Она (война. — В. Т.) — великая проявительница, — пишет Бердяев. — Но она несет с собой и опасности. Россия может попасть в плен ложного национализма и истинно немецкого шовинизма. Она может плениться идеалами мирового господства не русского по духу, чуждого славянской расе. Война несет с собой опасность огрубения. И всего более должна быть Россия свободна от ненависти к Германии, от порабощающих чувств злобы и мести, от того отрицания ценного в духовной культуре врага, которое есть лишь другая форма рабства. Хочется верить, что всего этого не будет, но нехорошо закрывать себе глаза на эти возможности. В русской национальной стихии есть какая-то вечная опасность быть в плену, быть покорной тому, что вне ее. И истинным возрождением России может быть лишь радикальное освобождение от всякого плена, от всякой подавленности и порабощенности внешнему, внешнеположному, инородному, т. е. раскрытие в себе внутренней мужественности, внутреннего света, духа царственного и творящего. Война должна освободить нас, русских, от рабского и подчиненного отношения к Германии, от нездорового, надрывного отношения к Западной Европе, как к чему-то далекому и внешнему, предмету то страстной влюбленности и мечты, то погромной ненависти и страха. Западная Европа и западная культура станут для России имманентной; Россия станет окончательно Европой, и именно тогда она будет духовно самобытной и духовно-независимой. Европа перестанет быть монополистом культуры». Эти слова Бердяева — как бы мостик, соединяющий тему России и Европы у Достоевского с идеями книги Трубецкого, прошедшими опыт страшных испытаний, вопиющими о грядущих ужасах, но так и не воспринятыми теми, от кого зависело предотвращение надвигающихся катастроф.

В 20-е годы, а отчасти и 30-е годы Трубецкой написал около двух десятков работ этого цикла. Некоторые из них вошли в состав книги «К проблеме русского самопознания» (1927). Другие разбросаны по разным труднодоступным изданиям, и до сих пор они, к сожалению, не собраны. Тематика их разнообразна, но общее ядро ощутимо во всех этих работах, будь они посвящены культурно-исторической или современной, весьма актуальной культурно-политической проблематике. Широкий захват тем, пространств, эпох, культурных и языковых традиций не порождает расплывчатости, рыхлости, экстенсивности. Общее ядро — «русский вопрос» — неизбежно собирает «разное» в «единое», центрирует это «разное» и придает всей концепции дополнительную глубину. Она осознается при охвате всего множества работ этого цикла, и только целое позволяет заметить в них редкое сочетание продуманной концептуальности и отчетливой практической установки (вплоть до «агитационности»). К этому целому отно-

сятся такие работы, как «Русская проблема» (1922), «Соблазны единения», «У дверей. Реакция? Революция?», «Вавилонская башня и смешение языков» (1923), «Наследие Чингисхана. Взгляд на русскую историю не с Запада, а с Востока», «Наш ответ», «Мы и другие» (1925), «К украинской проблеме», «О государственном строе и форме правления», «Общевразийский национализм» (1927), «Идеократия и армия» (1928), «Мысли об автаркии» (1933), «Об идее — правительнице теократического государства» (1935), «Упадок творчества» (1937) и др.

Многие из этих работ несут на себе явный отпечаток «евразийских» идей и, более того, сами составляют существенную часть «евразийского» печатного наследия. Собираясь послать Якобсону книгу «Исход к Востоку. Предчувствия и свершения. Утверждение евразийцев» (София, 1921), Трубецкой дает общую характеристику евразийству и евразийцам (письмо от 28 июля 1921 г.): «Это — сборник статей четырех авторов: Сувчинского, Флоровского, Савицкого и меня. Мы объединились на некотором общем настроении и „мироощущении“, несмотря на то, что у каждого из нас свой подход и свои убеждения. <...> Очень будет интересно узнать Ваше мнение об этом сборнике. Сущность его состоит в нащупывании и прокладывании путей для некоторого нового направления, которое мы обозначаем термином „евразийство“, может быть и не очень удачным, но бьющим в глаза, вызывающим, а потому — подходящим для агитационных целей. Направление это носится в воздухе. Я чувствую его и в стихах М. Волошина, А. Блока, Есенина и в „Путях России“ Бунакова-Фондаминского, в то же время в разговорах некоторых правых и даже у одного заядлого кадета. Похоже, что в сознании интеллигенции происходит какой-то сдвиг, который может быть сметет все старые направления и создаст новые, на совершенно других основаниях. Сейчас все это еще очень неопределенно, но безусловно „что-то готовится, что-то идет“, и при таких условиях необходимо возбуждать мысль, расталкивать, будить, сдвигать с мертвой точки, дразнить неприемлемыми парадоксами, назойливо вскрывать то, что стремятся спрятать от самих себя. Впрочем, довольно об этом: прочтете и увидите. Вероятно, Вам не понравится сильная доза мистицизма, присущая нам всем».

Как бы ни относиться к евразийству и к мистическому элементу в нем, в этой концепции или «мироощущении» заключалось вполне реальное содержание, и Трубецкой был, несомненно, тем евразийцем, который лучше всего чувствовал эту реальность и поэтому менее других нуждался в мистических способах форсирования евразийской идеи. Для него Евразия была многораздельно-целостным конкретным понятием природно-экологическим, географическим, хозяйственно-экономическим, геополитическим, но прежде всего — этноязыковым и культурно-историческим. В этом смысле, несколько педалируя концепцию, можно сказать, что «евразийское» пространство образует систему со своими закономерностями и типами, в значительной степени управляемыми принципами взаимодополнительного распределения. Евразия, следовательно, образует своего рода «макропространство», сопоставимое с языковыми «макросемьями», с одной стороны, и «языковыми союзами», с другой, — двумя понятиями, к формулировке которых Трубецкой подходил именно в эти годы, и Россия и «русский элемент» рассматривались не только изнутри, но и извне, «эксцентрически», в широком евразийском контексте. Евразийство как определенное направление мысли, общественное движение не имело продолжения и разными обстоятельствами — внешними и внутренними — было вынуждено закончить свое существование. Евразийское «мироощущение», даже не зная этого своего имени, не может не сохраняться, хотя бы и в иных формах. Направление и динамика развития разных структур, составляющих евразийское пространство, укрепляют мысль о возрастании роли подобного «мироощущения» в самом ближайшем будущем. Те «евразийские» идеи, которые нашли научное выражение, были подхвачены и в известной степени развиты («макроисторический» план) или имеют хорошие перспективы развития (историсофия, «мета-история»). Но обозначенные Трубецким более чем полвека назад евразийские куль-

гурно-исторические и этноязыковые горизонты и сейчас остаются, по сути дела, последним словом, тем заветом, который пока остается не воспринятым, той великой идеей, которая взывает к упорной работе. Русской науке в этой работе естественным образом предстоит играть особую роль. Когда такая работа начнется, по достоинству будет оценено значение небольшой книжечки Николая Сергеевича «К проблеме русского самопознания. Собрание статей» (1927). Эта книга, состоящая из четырех ранее опубликованных работ, начиная с 1921 г., составляет вторую часть еще задолго до этого намеченной трилогии. В книгу входят четыре статьи — «Об истинном и ложном национализме», «Верхи и низы русской культуры (Этническая основа русской культуры)», «О туранском элементе в русской культуре», «Общеславянский элемент в русской культуре», которым предпосланы вступительные замечания «От автора».

В этом вступлении Трубецкой в соответствии с евразийской идеологией вводит ряд важных понятий, за которыми стоят определенные идеи. Прежде всего подчеркивается роль понятия личности, на котором строятся и философская, и историософская, и социологическая, и политическая концепции евразийства. Понятию личности придается углубленно-расширительный смысл; личность может быть не только «частночеловеческой», но и «многочеловеческой», «симфонической», т. е. статут личности характеризует и отдельного человека, и целый народ, и даже группу народов, объединенных делом создания особой, общей для них всех культуры, ибо любая личность «предполагает целесообразное творчество», а творчество предполагает в свою очередь именно личность и без нее невозможно. Этот «расширительный» концепт личности как бы уравнивается тем, что каждая личность, даже и «частночеловеческая», не представляет собой некое далее не членимое единство. Напротив, личность проявляет себя в разные моменты своего существования в целом наборе индивидуаций, или ликов, сменяющих друг друга в зависимости от жизненной ситуации, но сосуществующих в принципе одновременно. «Личность не совпадает ни с одним из этих ликов и ни с одной из этих индивидуаций: личность есть связь и совокупность всех их». Но личночеловеческая личность знает лишь разновременные индивидуации, тогда как многочеловеческой личности известны и одновременные индивидуации. «Народ как личность может иметь несколько одновременных индивидуаций местного (диалектического) характера, каждая из которых, рассматриваемая как личность, опять может иметь несколько более частных индивидуаций и т. д., — так что между народом, с одной стороны, и личночеловеческой личностью, с другой, находится как бы несколько концентрических кругов суживающихся индивидуаций <...> Существует как бы особая иерархия личностей, — по признаку вхождения их друг в друга». Кроме «статической системы» иерархии личностей предлагается различать и «динамическую систему» сменяющих друг друга «разновременных индивидуаций». Личность, понимаемая таким образом, должна изучаться разными науками, но координировать эти науки должна особая наука — персонология.

Трубецкой подчеркивает, что личность не сводима исключительно к психическому явлению: она имеет и дух и плоть и проявляет себя в обеих этих сферах. «Для личностей многочеловеческих (народных и многонародных) эта связь с физическим окружением (с природой территории) настолько сильна, что приходится говорить прямо о неотделимости данной многочеловеческой личности от ее физического окружения и рассматривать это физическое окружение как продолжение данной многочеловеческой личности, во всяком случае, как некоторый ее коррелят, причем самую связь между личностью и ее физическим окружением приходится рассматривать как функциональную, совершенно оставляя в стороне вопрос, личность ли избрала это подходящее для нее физическое окружение, или физическое окружение повлияло на эту личность, приспособив ее к себе» (о подобного типа отношениях писал Трубецкой в письме к Якобсону от 26 декабря 1926 г. в связи с языком: «Для меня субъективно-интуитивно совершенно ясно например, что между общим акустическим

впечатлением чешской речи и чешским психическим (даже психофизи-ческим) обликом („национальным характером“) существует какая-то внутренняя связь. Это есть иррациональное впечатление, — но кто знает, не скрывается ли за ним предчувствие какого-то рационального закона? Таким образом, в конце-концов вполне правомерен вопрос не только, почему данный язык, выбрав такой-то путь, эволюционировал так, а не иначе, — но и почему данный язык, принадлежащий данному народу, выбрал именно такой-то путь эволюции, а не другой <...> Но только этот вопрос должна решать уже не лингвистика, а какая-то другая наука, скажем, „этнософия“...». Упомянутая здесь «этнософия» отсылает к сходной идее во вступлении к книге «От автора»), где, предвосхищая будущее, Трубецкой, по сути дела, говорит о различении наук «этического» (описательно-эмпирические) и «эмического» (осмысляюще-теоретические, «номотетические») уровней, ср.: «При такой установке сознания естественно возникнет потребность согласовать результаты, добытые отдельными науками, вдуматься в смысл этих результатов; это приведет к тому, что наряду с чисто описательными и научными исследованиями появятся исследования, осмысляющие фактический материал, наряду с исследованиями историческими — исследования исторические, наряду с этнографическими — этнософские, наряду с географическими — геософские, и т. д. Из таких „осмысляющих работ“ и должна возникнуть особая „теория данной личности“, устанавливающая внутреннюю связь между отдельными свойствами данной личности и определяющая ее специфические особенности». В этом контексте ясно, что при всей необходимости и важности описательных исследований евразийского пространства и евразийской «личности» надлежит изучать и общие законы жизни этой личности, для чего нужно формирование «единой системы наук, подчиненных персонологии». Однако Трубецкой не ограничивается и этим широким научным контекстом. «Идея личности, — пишет он, — доминирует в системе наук, не замыкается одними науками и за их пределами становится исходной точкой для системы философии. Та же идея личности призвана играть самую важную роль и в системе богословия, где природа ее находит окончательное раскрытие. Таким образом, вместо энциклопедии, т. е. анархического конгломерата друг с другом несогласованных научных, философских, политических, эстетических и т. д. идей, должна быть создана стройная и согласованная система идей. А этой системе идей должна соответствовать и система практических действий».

Само это понимание личности и определение круга аспектов ее проявления и соответствующего круга «персонологических» наук позволяют говорить о Трубецком как о выдающемся антропологе и культурологе-теоретике, в ряде отношений опередившем уровень современной ему науки о человеке и о личности, в частности, сумевшем определить личность не только через совокупность эмпирических особенностей, но и через нравственную категорию долга, цели, через акт (или процесс) самопознания. В первой статье книги об истинном и ложном национализме в центре внимания — проблема самопознания, понимаемого как нравственный долг всякой личности, как задание ее глубинного измерения, как то мерило, в соответствии с которым строится и практическая жизнь личности, будь то отдельный индивидуум, целый народ или совокупность народов. Самопознание понимается автором весьма широко: оно охватывает все стороны жизни и вовлекает в этот процесс всю личность настолько, что она становится субъектом-творцом этого универсального познания самого себя, рождающего его к новой жизни. «Самопознание, — пишет автор, — должно осуществляться не одним рассудком, а всеми сторонами духовной жизни личности, оно должно быть фактом не одного логического мышления, но всего вообще духовного опыта, и раскрываться должно не в одних научных или иных рассудочных построениях и утверждениях, но и во всяком творчестве данной личности, — художественном, организационном и техническом».

Познать самого себя значит быть самим собой — такова исходная мысль Трубецкого, продолжающая идею надписи храма в Дельфах, которую развил Сократ. «...» истинное самопознание выражается в гармонически-самобытной жизни и деятельности данной личности, — говорит Трубецкой. — Для народа это — самобытная национальная культура. Народ познал самого себя, если его духовная природа, его индивидуальный характер находят себе наиболее полное и яркое выражение в его самобытной национальной культуре, и эта культура вполне гармонична, т. е. отдельные ее части не противоречат друг другу. Создание такой культуры и является истинной целью всякого народа, точно так же, как целью отдельного человека, принадлежащего к данному народу, является достижение такого образа жизни, в котором полно, ярко и гармонично воплотилась бы его самобытная духовная природа». Задача народа и задача отдельного индивидуума в этом смысле не только «теснейшим образом связаны друг с другом», но и «взаимно дополняют и обуславливают друг друга». Из сказанного вытекает и понимание того, какая национальная культура должна быть признана истинной, — только та, которая способствует такому самопознанию. «Для того, чтобы способствовать индивидуальному самопознанию, культура должна воплощать в себе те элементы психологии, которые являются общими для всех или для большинства личностей, причастных к данной культуре, т. е. совокупность элементов национальной психологии. <...> Только вполне самобытная национальная культура есть подлинная, только она отвечает этическим, эстетическим и даже утилитарным требованиям, которые ставятся всякой культуре. <...> Ведь истинное счастье заключается не в комфорте, не в удовлетворении тех или иных частных потребностей, а в равновесии, в гармонии всех элементов душевной жизни (в том числе и „потребностей“) между собой. Сама по себе никакая культура такого счастья дать человеку не может. Ибо счастье лежит не вне человека, а в нем самом, и единственный путь к его достижению есть самопознание. Культура может только помочь человеку стать счастливым, облегчить ему работу по самопознанию».

Разбирая различия между истинным и ложным национализмом, Трубецкой, естественно, не может пройти мимо русской ситуации. Его мысли по этому поводу сейчас, когда тема национализма стала столь жгучей и вынуждает к самоопределению в этом отношении и русскую культуру, не просто сохраняют свою актуальность, но и выступают как положительная действующая сила, предостерегающая от опасностей, соблазнов, грехов «ложного» национализма, но и указывающая путь к национализму «истинному».

«Если мы в свете всех этих общих рассуждений станем рассматривать те виды русского национализма, которые существовали до сих пор, — пишет Трубецкой, — то будем принуждены признать, что истинного национализма в послепетровской России еще не было. Большинство образованных русских совершенно не желали быть „самими собой“, а хотели быть „настоящими европейцами“, и за то, что Россия, несмотря на все свое желание, все-таки никак не могла стать настоящим европейским государством, многие из нас презирали свою „отсталую“ родину. Поэтому большинство русской интеллигенции до самого недавнего времени сторилось всякого национализма. Другие именовали себя националистами, но на самом деле понимали под национализмом только стремление к великодержавности, к внешней военной и экономической мощи, к блестящему международному положению России, и для этих целей считали необходимым наибольшее приближение русской культуры к западноевропейскому образцу. На том же рабском отношении к западным образцам было основано у некоторых русских „националистов“ требование „русификации“, сводившейся к поощрению перехода в православие, к принудительному введению русского языка и к замене иноплеменных географических названий более или менее неуклюжими русскими: все это делалось лишь потому, что так-де поступают немцы, — „а немцы — народ культурный“. Иногда такое стремление быть националистом потонуло, что и немцы — националисты, принимало более глубоко и систематич-

но-продуманные формы. Так как немцы свое националистическое высокомерие обосновывают заслугами германской расы в создании культуры, наши националисты тоже старались говорить о какой-то самобытной русской культуре XX в., раздувая до полукосмических размеров значение всякого хоть сколько-нибудь уклоняющегося от западноевропейского шаблона создания русского или хотя бы русскоподобного творца и объявляя это творение „ценным вкладом русского гения в сокровищницу мировой цивилизации“. Для вящей параллели, в pendant к пангерманизму создан был и „панславизм“, и России приписывалась миссия объединить все „идущие по пути мирового прогресса“ (сиречь, променяющие свою самобытность на романогерманский шаблон) славянские народы, для того, чтобы славянство (как понятие лингвистическое) могло занять „подобающее“ или даже „первенствующее“ место в „семье цивилизованных народов“. Это направление западничающего славянофильства за последнее время перед революцией в России сделалось модным даже в таких кругах, где прежде слово „национализм“ считалось неприличным. Однако и более старое славянофильство никак нельзя считать чистой формой истинного национализма. В нем не трудно заметить все три вида ложного национализма <...>, причем сначала преобладал вид третий, позднее — первый и второй. Замечалась всегда и тенденция построить русский национализм по образцу и подобию романогерманского. Благодаря всем этим свойствам старое славянофильство и должно было неизбежно выродиться, несмотря на то, что отправной точкой его было ощущение самобытности и начало национального самопознания. <...> Таким образом, истинный национализм, всецело основанный на самопознании и требующий во имя самопознания перестройки русской культуры в духе самобытности, до сих пор был в России уделом лишь единичных личностей. Как общественное течение он еще не существовал. В будущем его предстоит создать. И для того-то и нужен тот полный переворот в сознании русской интеллигенции, о котором мы говорили в начале этой статьи).

Следующая статья о верхах и низах русской культуры менее теоретична, но зато она обращена к культурно-историческим и языковым реалиям. Правда, и в этой статье ставится, по сути дела, теоретический вопрос о «взаимоотношении между русской этнологической личностью и соприкасающимися с ней другими этнологическими личностями», об общем и разном между соседними личностями-народами и о причинах сходства между ними. Исследование соответствующего материала «дает возможность заключить о характере и направлении линий притяжения и отталкивания между отдельными этнологическими личностями, а также о природных или вызванных сожительством сходствах и отличиях между этими личностями. Так, сравнительное изучение внешнего проявления нескольких соседних друг с другом этнологических личностей позволяет делать заключения о характере духовного родства между этими личностями». Такой вид «сравнительного самопознания» имеет и практическое значение, ибо, как говорит автор, «между внешними проявлениями и сущностью личности должно быть определенное соотношение, длительное нарушение которого крайне вредно» и вынуждает искать соответствующую «подходящую» среду. «Выбор подходящей среды для постоянного общения есть задача гигиены личности, — как личностно-человеческой, так и многоличностно-человеческой. <...> войдя в такую „подходящую среду“ других родственных ей по духу личностей, данная личность может слиться с этой средой в особую многоличностно-человеческую (или, если речь о народе, — многонародную) личность». Но главное в этой части книги — размышления об обмене культурными ценностями «верхов» и «низов» русской культуры и точный отчет об этнографическом характере их и очерк связей русской культуры с другими иноплеменными культурами. Основной материал этого раздела — лингвистический. Подчеркнув, что основным элементом, образовавшим русскую национальность, был славянский, и отметив, что праславянский диалект «вместе с наиболее к нему близкими „прибалтийским“» занимал срединное положение, автор, перечисляя соседей славян внутри старого индоевропейского ареала, указывает основные «притяжения» сла-

вян, их направления и конкретные формы, насколько о них можно судить по языковым данным. Наиболее подробно рассматриваются связи с иранским миром (они, по мнению автора, были наиболее тесными), а также с западноиндоевропейскими племенами, прежде всего с германцами и романцами. Подчеркивается, что славяне «душой» стремились к индоиранцам, «телом» же, в силу географических и материально-бытовых условий, — к западным индоевропейцам, и что само срединное положение славян предопределило их позднейшую дифференциацию и различную систему связей. Указывая, что основанием для выделения славянского элемента является язык, Трубецкой ставит акцент на разнонаправленности культурной ориентации разных групп славян (западные славяне тяготели к романогерманскому миру, южные славяне к Византии) и настаивает на особом положении восточных славян, которые, не соприкасаясь непосредственно ни с одним из очагов индоевропейской культуры, «могли свободно выбирать между романогерманским „западом“ и Византией, знакомясь с тем и другим, главным образом, через славянское посредство». Однако выбор, сделанный русской культурой, не был однообразным: с введением христианства она ориентировалась на Византию, с начала петровских реформ — на Запад. Оба эти выбора несли в себе и положительное и отрицательное. Общая картина рисуется в следующем виде:

«Выбор был сделан в пользу Византии и дал первоначально очень хорошие результаты. На русской почве Византийская культура развивалась и украшалась. Все получаемое из Византии усваивалось органически и служило образцом для творчества, приспособлявшего все эти элементы к требованию национальной психики. Это относится особенно к области духовной культуры, к искусству и религиозной жизни. Наоборот, все получаемое с „запада“ — органически не усваивалось, не вдохновляло национального творчества. Западные товары привозились, покупались, но не воспроизводились. Мастера выписывались, но не с тем, чтобы учить русских людей, а с тем, чтобы выполнять заказы. Иногда переводились книги, но не порождали соответствующего роста национальной литературы. <...> Исключений из общего правила было, конечно, очень много, но в общем все византийское несомненно усваивалось в России легче и органичнее, чем все западное. Напрасно было бы объяснять все это одним лишь суверенным мизонепизмом. В самом этом „суеверии“ было инстинктивное ощущение репульсии к романогерманскому духу, сознание своей неспособности творить в этом духе. И в этом отношении восточные славяне являлись верными потомками своих доисторических предков <...>, которые, как показывает изучение словаря, не чувствовали духовной близости к западным индоевропейцам и в духовном отношении ориентировались на восток. <...>

Такое положение дела, однако, резко изменилось, благодаря реформе Петра Великого. С момента этой реформы русские должны были проникнуться романогерманским духом и творить в этом духе. <...> К спешному выполнению этой задачи русские были органически неспособны. И, действительно, если Россия до Петра Великого по своей культуре могла считаться чуть ли не самой даровитой и плодотворной продолжательницей Византии, после Петра Великого, вступив на путь романогерманской „ориентации“, она оказалась в хвосте европейской культуры, на задворках цивилизации. Некоторые основные движущие факторы европейской духовной культуры (например, европейское правосознание) русскими верхами усваивались. Отсутствие некоторых первостепенно-важных для романогерманцев психологических способностей давало себя чувствовать на каждом шагу. И потому-то число настоящих вкладов русского гения в „сокровищницу европейской цивилизации“ осталось ничтожным по сравнению с массой иностранных культурных ценностей, непрерывно механически пересаживаемых на русскую почву. Попытки органической переработки романогерманских культурных ценностей и выявления самобытного индивидуального творчества, в рамках определенной европейской формы, в России делались неоднократно, особенно в области духовной

культуры. Однако только исключительно гениальным личностям удавалось создавать в этих рамках ценности, приемлемые не для одной России, а и для „Запада“ и явный, подавляющий интерес был всегда на стороне простого, почти механического перенимания и подражания. <...> В конце концов, несмотря на все усилия русской интеллигенции <...>, две пропасти, вырытые Петром Великим, одна — между „допетровской Русью“ и „послепетровской“ Россией, другая — между народом и образованными классами, остаются незаполненными и зияют и по настоящее время».

Но эти две ориентации — на Византию и на романогерманский Запад — не исчерпывают круга притяжений русской культуры, особенно на уровне «низов», доступ которых к достижению двух указанных культурных центров всегда был затруднен и, так сказать, вторичен, поскольку предполагал первичного реципиента-посредника — «верхи». И Трубецкой пронизательно обращает внимание на «третий» элемент, сыгравший выдающуюся, хотя и не всегда еще вскрытую с должной широтой и глубиной, роль в русской культуре и придавший ей совершенно особый колорит, резко отличающий ее от культуры других славян.

«Но византийскими и романогерманскими традициями не исчерпывается культурный или этнографический облик русской народной стихии. В русском образованном обществе распространено убеждение, что своеобразные черты этого облика являются „славянскими“. Это не верно. Та культура (в смысле общего запаса культурных ценностей, удовлетворяющих материальные и духовные потребности данной среды), которой всегда жил русский народ, с этнографической точки зрения, представляет из себя совершенно особую величину, которую нельзя включить без остатка в какую-либо широкую группу культур или культурную зону. В общем, эта культура есть сама особая „зона“, в которую, кроме русских, входят еще угрофинские „инородцы“, вместе с тюрками волжского бассейна. С заметной постепенностью эта культура на востоке и юго-востоке соприкасается с культурой „степной“ (тюрко-монгольской) и через нее связывается с культурами Азии. <...> По целому ряду вопросов русская народная культура примыкает именно к востоку, так что граница „востока“ и „запада“ иной раз проходит именно между русскими и славянами <...>».

Эти мысли о «восточных» связях русских культурных «низов» Трубецкой подтверждает примерами, обнаруживающими общие «восточнорусские» элементы, иногда глубоко замаскированные и воспринимающиеся как «исконно-русские», ср. «пятитонную» (или «индокитайскую») гамму, характеризующую часть великорусских народных песен (в частности, наиболее архаичных обрядовых и специально свадебных), особенно русского народного танца, столь тонко и подробно разобранные автором, «восточные» элементы орнамента в резьбе, вышивке, отчасти некоторые черты народной словесности (связь в сюжете с «туранским» Востоком, в формальном отношении — с «ордынским» эпосом), отдельные черты материальной культуры (одежда, рыболовная техника и т. п.), что, разумеется, никак не отменяет обильных фактов русского («славянского») влияния на весь «восточный» ареал.

«Таким образом, в этнографическом отношении русский народ не является исключительно представителем „славянства“. Русские вместе с угрофинскими и волжскими тюрками составляют особую культурную зону, имеющую связи и с славянством, и с „туранским“ востоком, причем трудно сказать, которые из этих связей прочнее и сильнее. Связь русских с „туранцами“ закреплена не только этнографически, но и антропологически, ибо в русских жилах несомненно течет, кроме славянской и угрофинской, и тюркская кровь. В народном характере русских безусловно есть какие-то точки соприкосновения с „туранским востоком“. То братание и взаимное понимание, которое так легко устанавливается между нашими и этими „азиатами“, основано на этих невидимых нитях расовой симпатии. Русский национальный характер, впрочем, достаточно сильно отличается как от угрофинского, так и от тюркского, но в то же время он решительно не похож и на национальный характер других славян. Целый ряд черт, которые русский народ в себе особенно ценит, не имеет никакого эквивален-

та в славянском моральном облике. Наклонность к созерцательности и приверженность к обряду, характеризующие русское благочестие, формально базируется на византийских традициях, но, тем не менее, совершенно чужды другим православным славянам и скорее связывают Россию с неправославным востоком. „Удаль“, ценимая русским народом в его героях, есть добродетель чисто степная, понятная тюркам, но не понятная ни романогерманцам, ни славянам».

При всяком построении „новой русской культуры“ (а в необходимости выполнения этой задачи Трубецкой не сомневается) должно быть принято во внимание «своеобразие психологического и этнографического облика русской народной стихии». — «Ведь эта стихия, — продолжает автор, — призвана быть нижним этажом здания русской культуры, и для того, чтобы такое здание было прочно, нужно, чтобы верхняя часть постройки соответствовала нижней, чтобы между верхом и низом не было принципиального сдвига или излома. Пока здание русской культуры завершалось византийским куполом, такая устойчивость существовала. Но с тех пор как этот купол стал заменяться верхним этажом романогерманской конструкции, всякая устойчивость и соразмерность частей здания утратилась, верх стал все более и более накреняться, и, наконец, рухнул, а мы, русские интеллигенты, потратившие столько труда и сил на подпираание валящейся с русских стен неприлаженной к ним романогерманской крыши, — стоим в изумлении перед этой гигантской развалиной и все думаем о том, как бы опять выстроить новую крышу, опять того же, романогерманского образца. Эти планы следует решительно отвергнуть».

По мнению автора, для прочного утверждения на русской почве верхи русской культуры не должны быть ни специфически романогерманскими, ни византийскими (что, впрочем, уже и невозможно, хотя, как замечает Трубецкой, единственный уголок русской жизни, где византийские традиции не были вытеснены европеизированными формами, русская православная Церковь, «оказалась поразительно живучей и во время общего крушения не только не рухнула, но вновь приняла свою исконную форму, перестроившись опять по образцу, унаследованному из Византии»; впрочем, Трубецкой, когда писал эти строки, знал, во-первых, лишь о первом периоде гонений на Церковь после революции, а во-вторых, упустил из виду и ряд других «настроений», которые дали повод поэту сказать еще в 1918 г. — *Когда в тоске самоубийства / Народ гостей немецких ждал / И дух суровый византийства / От русской Церкви отлетал...*). Тем не менее, признание неисчерпаемости русского «византизма» и некоторые надежды на частичное усиление византийского элемента в будущем очень показательны. Разумеется, Трубецкой признает невозможность переустройства русской жизни на византийских началах. И дело тут не только в двух с половиной веках усиленной европеизации России: уже в XVII в., когда Никон попытался приблизить русское благочестие к его византийскому образцу, «этот образец значительной частью русского народа уже был воспринят как нечто иноземное и вызвал раскол». Указав, что позднее этот же раскол обратил свое острие и против европеизации, Трубецкой пишет о старообрядчестве: «В русском расколе с тех пор воплощается стремление русской народной стихии к самобытной культуре, направленное, может быть, по ложному пути и обреченное заранее на неудачу, вследствие того, что оно имеет лишь низы, но не имеет культурного верха. Но в путях раскола все-таки чувствуется проявление здорового национального инстинкта русской стихии, протестующей против искусственно надетого на нее чужого культурного верха. И потому-то глубоко знаменательно, что Емельян Пугачев, стоя под знаменем старообрядчества, отвергающего „поганых латинян и лютеров“, не находил ничего предосудительного в объединении с башкирами и прочими представителями не только инославного, но даже иноверного туранского востока».

И, наконец, как вывод и практическое предложение:

«В этих подсознательных симпатиях и антипатиях русской народной стихии и надо черпать указания для постройки здания русской культуры. Мы исповедуем восточное православие, и это православие сообразно со

свойствами нашей национальной психики должно занять в нашей культуре первенствующее положение, влияя на многие стороны русской жизни. Вместе с верой мы получили из Византии много культурных традиций, которые в старину сумели творчески развить и приспособить к нашим, русским. Пусть работа в этом направлении будет продолжаться. Но этим дело не исчерпывается. Нельзя все уложить в византийские рамки. Мы не византийцы, а русские, и для того, чтобы русская культура была вполне „нашей“, нужно, чтобы она была тесно связана с своеобразным психологическим и этнографическим обликом русской народной стихии. И тут надо иметь в виду особые свойства этого облика. Много говорили о том, что историческая миссия России состоит в объединении наших „братьев“ славян. При этом обычно забывали, что нашими „братьями“ (если не по языку и по вере, то по крови, характеру и культуре) являются не только славяне, но и туранцы, и что фактически Россия уже объединила под сенью своей государственности значительную часть „туранского востока“. Опыты христианизации этих „инородцев“ до сих пор были очень мало удачны. А, следовательно, для того, чтобы верхи русской культуры находились в соответствии с особым положением этнографической зоны русской стихии, необходимо, чтобы русская культура не исчерпывалась восточным православием, а выявляла бы и те черты своей основной народной стихии, которые способны сплотить в одно культурное целое различные племена, исторически связанные с судьбой русского народа. Это не означает, конечно, чтобы лапти или пятитонная гамма непременно сделались неотъемлемой принадлежностью верхов русской культуры. Предсказывать и предписывать конкретные формы имеющей появиться новой русской культуры вообще невозможно. Но все же отличие верхов от низов должно определяться не тяготением к двум различным этнографическим зонам, а степенью культурной разработки и детализации элементов единой культуры. Русская культура, в смысле завершения культурного здания, должна вырастать органически из основания русской стихии».

Следующий раздел книги посвящен туранскому элементу в русской культуре, и в этом смысле он одновременно описывает и ведущие черты «туранизма» как в языке, так и в культуре вообще, и русскую культуру *sub specie* туранской стихии. Отнеся к «туранцам» финно-угров, самодийцев, тюрков, монголов и манчжур, Трубецкой описывает туранский психический тип прежде всего на тюркском материале, считая его в этом отношении наиболее представительным. Психический облик тюрков (с известными коррективами, следовательно, и «туранцев» в целом) восстанавливается по данным языка и результатам творчества в области духовной культуры. И те и другие данные не только обнаруживают известную взаимозависимость, но и, — что гораздо интереснее и делает большую честь умению Трубецкого находить общие структуры и принципы, казалось бы, в совершенно разных областях, — некоторые основоположные свойства, лежащие на значительной глубине. На материале звукового строя тюркских языков (сингармонизм и связанные с ним явления) Трубецкой устанавливает, что благодаря строгому подчинению всей звуковой системы языка указанным законам, «число возможных звуковых комбинаций ограничено, и в связной речи одни и те же комбинации звуков постоянно повторяются. Речь получает особо явственно звуковое единство, создается некая акустическая инерция (подобная инерции тональностей в музыкальном произведении)». Собственно, эти же особенности (или точнее, лежащие в их основе механизмы) обнаруживаются в морфологии и синтаксисе тюркских языков, что и дает возможность формулировать понятие тюркского языкового типа — схематическая закономерность, последовательное проведение небольшого числа простых и явных основных принципов, спаивающих речь в одно целое; сравнительная бедность и рудиментарность самого языкового материала и подчинение всей речи как в звуковом, так и в формальном отношении схематической закономерности. Еще более удивительно: Трубецкому удалось показать, что эта характеристика тюркского языкового типа хорошо описывает и

особенности музыки тюркских народов (естественно, при снятии тех «шумов», которые связаны с более поздними влияниями других культурных традиций), и особенности народной устной поэзии, и даже особенности религиозной психологии и обычного права (ср. систему родового строя). Наличие этой общей психологической черты («ясная схематизация сравнительно небогатого и рудиментарного материала») определяет и типичный облик тюрка и особенности миросозерцания и жизненного уклада носителей этой психологии.

«Типичный представитель туранской психики, — пишет Трубецкой, — в нормальном состоянии характеризуется душевной ясностью и спокойствием. Не только его мышление, но и все восприятие действительности укладывается само собой в простые и симметричные схемы его, так сказать, „подсознательной философской системы“. В схемы той же подсознательной системы укладываются также все его поступки, поведение и быт. При том „система“ уже не сознается как таковая, ибо она ушла в подсознание, сделалась основой жизни. Благодаря этому нет разлада между мыслью и внешней действительностью, между догматом и бытом. Внешние впечатления, мысли, поступки и быт сливаются в одно монолитное неразделимое целое. Отсюда — ясность, спокойствие и, так сказать, самодовление». Разумеется, это состояние устойчивого равновесия при условии пониженной психической активности может привести к полной неподвижности и косности, но эти же черты устойчивого равновесия вполне соединимы и с психической активностью. «Устойчивость и стройность системы не исключают дальнейшего творчества, но, разумеется, это творчество регулируется и направляется теми же подсознательными устоями, и благодаря этому самые продукты такого творчества сами собой, естественно входят в ту же систему мировоззрения и быта, не нарушая ее общей стройности и цельности».

Отметив, что «туранская психика сообщает нации культурную устойчивость и силу, утверждает культурно-историческую преемственность и создает условия экономии национальных сил, благоприятствующих всякому строительству», Трубецкой говорит о той положительной роли туранской психики, которую она сыграла в русской истории, в допетровской московской Руси. «Весь уклад жизни, в котором вероисповедание и быт составляли одно („бытовое исповедничество“), в котором и государственные идеологии, и материальная культура, и искусство, и религия были нераздельными частями единой системы; системы теоретически не выраженной и сознательно не формулированной, но тем не менее пребывающей в подсознании каждого и определяющей собой жизнь каждого и бытие самого национального целого, — все это несомненно носит на себе отпечаток туранского психического типа. А ведь это именно и было то, на чем держалась старая Русь, что придавало ей устойчивость и силу». То, что иностранные наблюдатели поверхностно квалифицировали как раболепие народа перед властями, а властей перед царем, при более глубоком взгляде могло бы быть понято как воплощение беспрекословного подчинения как основного принципа туранской государственности. При этом такое подчинение по идее распространяется и на верховную власть, так же безоговорочно долженствующую подчиняться высшему принципу, которому в древней Руси была православная вера. В ее рамки и укладывалось в это время все — «частная жизнь, государственный строй и бытие вселенной». «Византизм» (по крайней мере, по происхождению) православия и «туранизм» русской психологии к середине XVII в. вошли в решительное противоречие друг с другом, результатом которого был раскол.

Но пик активного «турализма» в русской истории отмечен раньше; он приходится на время формирования Московского государства. Трубецкой был, очевидно, первым, кто столь рельефно описал эту ситуацию: «Московское государство возникло благодаря татарскому игу. Московские цари, далеко не закончив еще „собрание русской земли“, стали собирать земли западного улуса великой монгольской монархии. Москва стала мощным государством лишь после завоевания Казани, Астрахани и Сибири».

Русский царь явился наследником монгольского хана. „Свержение татарского ига“ свелось к замене татарского хана православным царем и к перенесению ханской ставки в Москву. Даже персонально значительный процент бояр и других служилых людей московского царя составляли представители татарской знати. Русская государственность в одном из своих истоков произошла из татарской, и вряд ли правы те историки, которые закрывают глаза на это обстоятельство или стараются преуменьшить его значение. Но если такое игнорирование татарского источника русской государственности оказывается возможным, то, конечно, потому что во внутреннем содержании и в идеологическом оправдании русской государственности ярко выступают элементы, не находящие прямых аналогий в татарской государственности: это — православие и византийские традиции. Чудо превращения татарской государственности в русскую осуществилось благодаря напряженному горению религиозного чувства,¹ благодаря православно-религиозному подъему, охватившему Россию в эпоху татарского ига. Это религиозное горение помогло древней Руси облагородить татарскую государственность, придать ей новый религиозно-этический характер и сделать ее своей. Произошло обрусение и православление татарщины, и московский царь, оказавшийся носителем этой новой формы татарской государственности, получил такой религиозно-этический престиж, что перед ним поблекли и уступили ему это место все остальные ханы западного улуса. Массовый переход татарской знати в православие и на службу к московскому царю явился внешним выражением этой моральной притягательной силы» (на основании „татаризмов“ русского языка (ср. *деньга, казна, алтын, тамга, таможня, ял, ямики, ямская гоньба* и т. п.) Трубецкой ставит вопрос о решающем татарском влиянии в таких важных государственных функциях, как организация финансов и почтовое сообщение).

Иноземное иго не только несчастье, но и школа. Татары угнетали Русь, но погунто и учили. Удельная Русь вышла из-под татарского ига государством — «неладно скроенным», но «крепко сшитым», спаянным внутренней духовной дисциплиной и единством «бытового исповедничества», с большим запасом тенденций к экспансии вовне. Эпоха Петра открыла окна и двери «европеизму». Его иго, как и татарское, продлилось тоже более двух веков. «Теперь Россия вышла из него, но уже в новом виде, — в виде „СССР“». Большевизм есть такой же плод двухсотлетнего романогерманского ига, как московская государственность была плодом татарского ига. Большевизм показывает, чему Россия за это время научилась от Европы, как она поняла идеалы европейской цивилизации, и каковы эти идеалы, когда их осуществляют в действительности. По этому плоду и надо судить о благотворности или вредоносности романогерманского ига. И когда сопоставишь друг с другом эти два аттестата (<...>), то невольно приходишь в тому заключению, что татарская школа была вовсе не так уже плоха», — подводит Трубецкой итог своим мыслям о роли «туранского» элемента в русской истории и русской культуре. Целый ряд подобных мыслей за последние 60 лет был подхвачен, усвоен и развит (чаще всего, правда, применительно к условиям, к тому, что «разрешено»). Но здесь, конечно, не место оценивать ни основные идеи, ни конкретные детали в ракурсе их соответствия историческим реалиям. Очевидно, что многое из этих наблюдений и выводов не только оригинально, но и верно — и не только в «отвлеченном» историософском, но и в собственно историческом плане. Так же едва ли можно сомневаться в наличии преувеличений, даже в значительных перехлестах и неучете ряда иных важных аспектов. Но в любом случае эти страницы книги Трубецкого остаются замечательным образцом вовлечения в историческое и культурологическое исследование новых материалов и формирования новых аспектов и уровней. Историософия, этнософия и геософия, объединенные вокруг темы России, «русского элемента», русской культуры, обретают на этих страницах свое «родимое» место.

Четвертый раздел книги о проблеме русского самопознания недавно переиздан у нас и поэтому не нуждается в подробном изложении. Доста-

точно только сказать, что он посвящен общеславянскому элементу в русской культуре и акцентирует «славянство» как чисто лингвистическое понятие, в отличие от этнопсихологического «туранского» единства. Этот раздел — самый большой в книге, и во многих отношениях он остается наиболее емким и глубоким очерком темы. Две особенности этой части заслуживают особого внимания. В о-п е р в ы х, то, что говорится о роли языка в обнаружении личностью своего внутреннего мира и в формировании «многочеловеческой» личности — народа, а также о важности изучения языка с точки зрения персонологии. В о-в т о р ы х, страницы, посвященные судьбам и специфическим свойствам русского литературного языка как свидетельствам коренных черт русской национальной личности. Идеи, связанные с ролью литературного языка в истории русской культуры, должны быть признаны пионерскими, и поэтому заключение этой темы уместно процитировать:

«Русский литературный язык есть общеславянский элемент в русской культуре и представляет из себя то единственное звено, которое связывает Россию с славянством. Говорим „единственное“, ибо другие связывающие звенья призрачны. „Славянский характер“ или „Славянская психика“ — мифы. Каждый славянский народ имеет свой особый психический тип <...> Не существует и общеславянского физического, антропологического типа. „Славянская культура“ — тоже миф, ибо каждый славянский народ выработывал свою культуру отдельно, и культурные влияния одних славян на других нисколько не сильнее влияния немцев, итальянцев, тюрков и греков на тех же славян. Этнографически славяне принадлежат к различным этнографическим зонам.

Итак, „славянство“ не есть понятие этнопсихологическое, антропологическое, этнографическое или культурноисторическое, а понятие *лингвистическое*. Язык и только язык связывает славян друг с другом (в сноске говорится, что „славянство“ можно считать „районом однопризнаковым“, причем единственным признаком районирования является язык, между тем как каждый отдельный славянский народ входит совместно с своими неславянскими соседями в разные „многопризнаковые районы“, термины „одно- и многопризнаковый“ принадлежат П. Н. Савицкому. — В. Т.). Язык является единственным звеном, соединяющим Россию со славянством. Мы видели, что по отношению к языку русское племя занимает среди славян совершенно исключительное по своему историческому значению положение. Будучи модернизированной и обрусевшей формой церковнославянского языка, русский литературный язык является единственным прямым преемником общеславянской литературноязыковой традиции, ведущей свое начало от святых Первоучителей славянских, т. е. от конца эпохи праславянского единства. <...> церковнославянская литературноязыковая традиция утвердилась и развилась в России не столько потому, что была *славянской*, сколько потому, что была *церковной*. Это обстоятельство чрезвычайно характерно для русской истории. Россия-Евразия — страна-наследница. Волею судеб ей приходилось наследовать традиции, возникшие первоначально в иных царствах и у иных племен, и сохранять преемство этих традиций даже тогда, когда породившие их царства и племена погибли, впадали в ничтожество и теряли традиции. Так, унаследовала Россия традицию византийской культуры и хранила ее даже после гибели Византии; унаследовала Россия и традицию монгольской государственности, сохранив ее даже после впадения монголов в ничтожество; наконец, унаследовала Россия и церковнославянскую литературно-языковую традицию, и хранила ее, в то время как гибли один за другим древние центры и очаги этой традиции. Но любопытно при этом, что все эти унаследованные Россией традиции только тогда становились русскими, когда сопрягались с Православием. Византийская культура с самого начала была для русских неотделима от Православия, монгольская государственность, только оправославившись, превратилась в Московскую, а церковнославянская литературно-языковая традиция только потому и могла принести плод в виде русского литературного языка, что была церковной, православной».

Те дополнения, усовершенствования, поправки (основная из них состоит в том, что «исключительность» лингвистического определения славянства действительно, и то с оговорками, только для настоящего времени, — для праславянской эпохи, особенно когда Славия занимала ограниченную и единую в отношении связей территорию, «славянское» могло определяться и «культурно» — фольклорно, мифологично, ритуально, хозяйственно-экономически, социально и т. п.; эти общие элементы жизни славян в той или иной мере улавливаются и позже, в условиях их разъединения и вхождения в разные «культурные» круги), которые могут быть сделаны в связи с приведенными мыслями Трубецкого, не снижают «величия замысла» всей этой огромной культурно-исторической и этноязыковой панорамы и здания наук «персоналогического» цикла, призванных изучать разные аспекты этой панорамы. Можно лишь сожалеть, что многие из этих идей — в силу ли исторических обстоятельств, труднодоступности этих работ (они печатались по-русски в малотиражных изданиях), недостаточной внимательности читателей или просто потому, что аудитория была еще не готова к восприятию этих мыслей, — оказались не востребованными временем, которое в преддверии новой мировой схватки так нуждалось в этих уроках.

Работы этого цикла, насколько известно, никогда не были предметом серьезного анализа и поэтому заслуживают хотя бы краткой характеристики их в методологическом плане. Особенность их, пожалуй, прежде всего бросающаяся в глаза, — с и н т е т и ч н о с т ь, обнаруживающая себя в общей установке на целостный, совокупный взгляд на объект исследования, в объеме и характере привлекаемого материала, в использовании разноплановых методов подхода к этому материалу (чему соответствует постулирование синтетического комплекса соответствующих наук), наконец, в той форме, которую приобретают результаты исследования. Эти результаты выстраиваются в картину, поражающую своей широтой и, так сказать, многогоризонтностью, но эта широта всегда имеет отчетливую углубляюще-центрированную доминанту: она не только не дает распасться разнородному и как бы не всегда связанному в своих частях материалу, но и, обхватывая его, как обручем, создает особую «энергетическую» тягу — вглубь, к истокам, к самой сути проблемы. Такая широта не расслабляет, но, наоборот, собирает воедино разное, углубляет взгляд и открывает новое, ранее не видимые пласты исследуемого объекта. Подобно языковому знаку (например, фонеме), который «открывает» свои структурные возможности в обе стороны, — «вниз» (как этот знак членится, ср. ранний подход к идее дифференциальных признаков) и «вверх» (как этот знак интегрируется в более крупные знаки, например, фонема в морфему и т. п.), — «личность» в этих работах Трубецкого также обнаруживает эти свойства: она распадается на слои, и монолитность ее держится на единстве многообразного, но она и включается в концентрические «личности» большего охвата как составная часть их. И в том и в другом случае благодаря этим особенностям осуществляются связи «вниз» и «вверх», и объект исследования, будь то язык или «личность», выступает как своего рода динамизированная система, «ходы» которой, хотя бы в принципе, поддаются исчислению. Аналогии с языком, чаще всего глубинные и не вполне эксплицированные, составляют очень важную особенность метода и стиля работ этого «нелингвистического» цикла и позволяют (пусть в самом общем виде) строить догадки о некоей исходной структуре, которая обнаруживает себя в «почти» изоморфных построениях различных областей гуманитарного знания и которая, вероятно, предносилась умственному взгляду Трубецкого. Как прирожденный систематик-классификатор, он вообще был особенно чуток к проблеме тождества и различия, умел в подобном видеть разное, а в разном подобное и, следовательно, прекрасно ориентировался в сложных системах связей. В цикле работ, образовавшемся вокруг книги «К проблеме русского самопознания», Трубецкой, говоря о личности, частно- или многочеловеческой, о культуре, о национальной традиции, всегда имеет в виду «связку» связей, определяющих общую картину: связь языка с культурой (причем и в более глубинном плане, когда тип языка

мотивирует тип культуры, отражением чего является изоморфизм языка и культуры), связь во времени и пространстве, связь в духе и связь в «смысле» и т. п. Эти связи в своей совокупности образуют то «коррелятивное» пространство, в котором находится «личность» — от отдельного индивидуума до целого народа или «связки» народов. Во всяком случае внимание исследователей должно быть привлечено к параллелизму выстраиваемых Трубецким лингвистических и персонологических конструкций.

В заключение работ «культурно-персонологического» цикла следует сказать несколько слов о статье Трубецкого «О расизме», появившейся в 1935 г. в пятом выпуске «Евразийских тетрадей» и посвященной в основном антисемитизму. Разумеется, эта статья — прежде всего отклик на происходящее, вскрытие язв расизма в предвидении близящейся трагедии, попытка объяснить ситуацию, удержать от необратимых действий и развенчать самую идеологию антисемитизма. Слово Трубецкого — дело честного человека и компетентного специалиста в области «национальной психологии». В этом смысле статья связана и со злобой дня и с тем направлением научных исследований в этой области, которое сложилось за четверть века до этого. Как человек автор сопереживает гонимым и, объясняя и убеждая, пытается предотвратить несправедливость, которая может обернуться непоправимыми результатами. Как исследователь он подчеркнуто сух, объективен и не признает табу, даже если их снятие может кому-то показаться аргументом в пользу антисемитизма. Несомненно, что Н. С. Трубецкой продолжает в русской культуре ту линию в еврейском вопросе, которая отмечена именами Вл. Соловьева, С. Н. Булгакова (ср. «Гонение на Израиль», статью, написанную в горчайшее для евреев время, 1942), Вяч. И. Иванова («К идеологии еврейского вопроса», 1915) и других, но в отличие от Булгакова он не касается религиозной стороны вопроса («Говоря о еврейском вопросе, я намеренно оставляю совершенно в стороне религиозную точку зрения, чтобы сделать свою аргументацию доступной даже людям, не разделяющим мои религиозные убеждения»), а в отличие от Вяч. Иванова не останавливается на «отмеченности» еврейства и на всем, что относится к эмоциональной стороне проблемы (ср. у Вяч. Иванова: «Мне думается, что евреи — провиденциальные испытатели наши и как бы всемирно-исторические экзаменаторы христианских народов по любви ко Христу и по верности нашей Ему. <...> В нас же, если бы мы были со Христом, не было бы и страха перед испытателями; ибо любовь побеждает страх»).

Трубецкой начинает со злобы дня и сразу же вводит в центр проблемы:

«В силу разных причин, на которых мы здесь останавливаться не будем, антисемитизм во время Революции, гражданской войны, первого периода коммунизма и нэпа охватил довольно широкий слой русской интеллигенции. Падение Троцкого и связанное с этим событием устранение целого ряда наиболее видных евреев-коммунистов с занимаемых ими „командных высот“ несколько распатали убеждение в тождественности большевизма с „еврейским засильем“. Многие русские интеллигенты и в СССР и в эмиграции, присмотревшись ближе к событиям и к евреям, отошли от тех антисемитских настроений, которые еще недавно владели ими. Но, все же, значительная часть интеллигентных и полунинтеллигентных русских остаются антисемитами. За последнее время этот русский антисемитизм усиленно поддерживается из Германии. <...> Идеи „расизма“ усиленно пропагандируются в русской среде, при том, конечно, не против воли немецкого правительства. Готовя нападение на СССР с целью захвата Украины, немецкий генеральный штаб заинтересован в том, чтобы в России и на Украине иметь как можно более сочувствующих элементов. А так как идея немецкого владычества в чистом виде никого, кроме самих немцев <...>, прельстить не может, то в качестве средства притяжения русских к современной Германии выдвигается антисемитизм. Большинство русских и украинцев, втянутых в эту политику и пропагандирующих расовые теории среди своих соплеменников, разумеется, и не подозревают,

что являются простым орудием, игрушкой в руках немецкого империализма, которому нужно только одно — украинский чернозем. Но такова уж судьба всех агентов того или иного чужого империализма: большинство их всегда бессознательно думает, что заботится лишь об интересах своего собственного народа... Как бы то ни было, антисемитизм немецкого типа в настоящее время пропагандируется в русской среде. А так как была сделана попытка вовлечь в это дело и евразийство, то нелишним будет поговорить на эту тему на страницах евразийских изданий».

Выступая против мнения русских антисемитов, пытающихся привлечь на свою сторону евразийство и доказать чуждость расового типа евреев истории и культурному облику России-Евразии, с последующими выводами из этого заключения, Трубецкой решительно отвергает претензию носителей этой точки зрения на связь подобных заключений с фактами, «установленными наукой». Заметив, что надежность данных современной ему антропологии (включая и фон-эйкштедтовскую классификацию рас) никак не может считаться доказанной и общепринятой, он подчеркивает, что решающее слово в этом вопросе принадлежит вообще не антропологии, а психологии, и в научной проверке нуждается связь определенных психологических черт с определенными расовыми признаками («антисемиты отвергают евреев не за строение их носов, челюстей или тазовых костей, а за психологические черты, якобы присущие еврейской расе»). Но как раз в этой области ситуация значительно сложнее, чем это представляется «расистам», так как не вызывает сомнения, что часть психических черт оказывается унаследованной от предков, тогда как другая благоприобретена. Установлено, что «таланты» и «темпераменты» составляют наследственные черты, но не доказано, что наследуется само направление «талантов» и «темпераментов». Более того, изучение биографий выдающихся людей и современная индивидуальная психология приводят к выводу о том, что «направление» таланта обусловлено биографией, т. е. является благоприобретенной чертой. «Исследуя такую сложную проблему как национальный характер, нельзя исходить из огульного предположения о расовой обусловленности всех черт данного национального характера точно так же, как нельзя объяснить и все черты данного индивидуального характера исключительно одной наследственностью».

Отметив, что опыты и наблюдения, имеющие целью определение, какие черты еврейского характера унаследованы, а какие благоприобретены, никогда не проводились в сколько-нибудь значительном масштабе (даже данные о еврейских кантонистах, которые, по замыслу Николая I, должны были воспитываться в изоляции от еврейской среды, не подвергались обследованию), автор указывает, что «никакого параллелизма между сохранением физического типа и сохранением типичных черт еврейского характера не существует», ссылаясь на наблюдения над «полу- и полу-полу-евреями» и людьми смешанного происхождения, у которых признаки «еврейской крови» сохраняются в течение многих поколений, а черты еврейского характера «просто не могут быть обнаружены». Передаваемые по наследству черты (умственная активность или пассивность, способность или неспособность к музыке или математике, наличие или отсутствие юмора и т. п.) нейтральны, и направление этих черт по наследству не передается. «А между тем, если в еврейском характере есть черты, вредно и разлагающе действующие „на коренное население“, то эти черты состоят именно в том особом направлении, которое приобретают унаследованные евреями предрасположения. Будучи не врожденным, а благоприобретенным, это особое разлагающее направление еврейского таланта, еврейского темперамента, еврейского юмора не имеет никакого отношения к расе, а определяется *средой*, т. е. тем особым положением, которое занимают евреи в среде того или иного народа и вытекающими из этого положения бытовыми условиями. Как только это особое положение нарушается, т. е. как только прочно порывается связь отдельного еврея <...> с еврейской традицией, — так врожденные черты его психики получают возможность развиваться в совершенно иных направлениях». — Верность этого положения автор подтверждает весьма актуальным для его среды

примером: «Наблюдая русскую эмиграцию, нетрудно заметить в ней зачаточные формы тех психических черт, которые при „благоприятных“ условиях должны привести к типичным еврейским чертам» (поразительная сплоченность по отношению к иностранцам; «русское засилие», т. е. стремление, устроившись на хорошем месте, тянуть туда же своих; наличие двух этических норм — «для своих» и для коренного населения; ирония по отношению к нему и т. п.). Последнему обстоятельству — в связи с ситуацией русской эмиграции — Трубецкой придает особое значение: «Эмигрант „не первого поколения“ может сохранить свою национальную обособленность лишь в том случае, если психологическое отталкивание от окружающего его народа будет в его душе преобладать над влечением к слиянию с этим народом. А преобладание элемента отталкивания создает ту цинично-ироническую, разлагательскую психологию, о которой мы только что говорили. Разве можно не признать разлагателем человека, живущего в данном народе, вполне приобщившегося к его культуре (практически даже не имеющего никакой другой культуры) и в то же время отталкивающегося от тех элементов этой культуры и быта, которые данному народу особенно интимно близки и дороги? Разлагательская психология — та цена, которой только и может быть куплено сохранение обособленности не-первых поколений эмиграции».

У евреев эта черта тем более объяснима, что со времени «великого расщепления» они двухтысячелетние эмигранты, сплоченные общими традициями, религией, отъединяющей их от других, и преследованиями извне. «Несмотря на все это среди евреев всегда находилось довольно большое число людей, у которых влечение к полному слиянию с окружающим народом оказывалось сильнее эмигрантского отталкивания». Те, в ком эмигрантская психология была сильна, оставались евреями; эта психология передавалась из поколения в поколение, будучи никак не связанной с расой и извне часто воспринималась как «разлагательская», но которая (скажем от себя) есть равнодействующая ряда обстоятельств, естественное следствие соприкосновения «эмигрантской» и «почвенной» психологии, если они не облагорожены сознанием интересов «другого». «Коперниканский» взгляд на проблему позволил бы многое увидеть в ином свете. По сути дела, об этом пишет и Трубецкой — «По наследству у евреев передается подвижность ума, комбинаторские способности („пронырливость“, „изворотливость“) и страстный темперамент, — т. е. черты, которые без наличия вышеупомянутой благоприобретенной эмигрантской психологии были бы не только не вредны, но даже полезны для народов, приютивших у себя евреев».

Но проблема еврейства не может быть сведена к формальному определению границ нормального *modus vivendi* к правовым решениям и установлениям. На должной глубине это проблема психологии, нравственности, социальной гигиены, и она всегда относится к обеим сторонам — евреям и не-евреям. Обе стороны — заинтересованные, обе — ответственные, обе — призваны к действию. И мысли Трубецкого должны быть приняты во внимание:

«Неправильно было бы просто отрицать существование у евреев разлагательской психологии, — как это склонны делать многие семитофилы. Надо признать, что очень многие и как раз наиболее типичные евреи действительно находят удовольствие в развенчивании чужих идеалов, в замене возвышенных идеальных побуждений цинично-холодным расчетом, в вскрытии низменных подоплек всего высокого, в чистом отрицании, лишаящем жизнь всякого смысла. Но для объяснения такого направления деятельности евреев среди других народов вовсе не нужно выдвигать гипотезу какого-то всемирного еврейского заговора или плана, приводимого в исполнение тайным еврейским правительством, а достаточно просто учесть факт двухтысячелетней эмигрантской традиции и ее неизбежных психологических последствий. Не подлежит сомнению, что до известной меры разлагательская деятельность евреев может быть полезна для живущих с ними народов. Диалектика исторического процесса требует не только утверждения, но и отрицания; без подрыва авторитетов, без разрушения общепринятых традиционных убеждений никакое движение

вперед невозможно. Но, в то же время, необходимо признать, что еврейское разлагательство обычно превышает ту меру, до которой оно могло бы быть полезным, и в громадном большинстве случаев является злом. Мало того, надо признать, что эта разлагательская психология является злом не только для других народов, но и для самих евреев. Ведь она является симптомом того нездорового духовного состояния, в котором пребывает почти каждый отдельный еврей с самого детства, и является как бы разряжением мучительных подсознательных комплексов и душевных судорог.

Нездоровое надо лечить. А для лечения необходим правильный диагноз. Для неврозов часто достаточно одного диагноза, т. е. достаточно, чтобы пациент сам глубоко осознал причину своего состояния и получил настоящее желание бороться с ним. А еврейское разлагательство есть невроз, особый невроз, возникающий на почве ощущения ненормального отношения между евреем и гоями и усиливаемый влиянием еврейской среды, страдающей тем же неврозом.

Как лечить этот невроз, это вопрос сложный, над которым следует основательно подумать. Основу „лечения“ должно составить, конечно, изменение тех бытовых условий, которые этот невроз порождают. Но, во всяком случае, меры, предлагаемые русскими сподвижниками национал-социализма, проблемы отнюдь не решают. Восстановление ограничений и усиление перегородок между евреями и неевреями может повести только к повышению разлагательских черт еврейской психологии <...> Если о целесообразности таких мероприятий может думать мало осведомленная немецкая молодежь, то нам русским надлежало бы быть дальновиднее и помнить, что ограничение евреев существовало в России до самой февральской революции и не привело ни к каким благим результатам. <...>

Немецкий расизм основан на антропологическом материализме, на убеждении, что человеческая воля не свободна, что все поступки человека в конечном счете определяются его телесными особенностями, передающимися по наследству, и что путем планомерного скрещивания можно выработать тип человека, особенно благоприятствующий торжеству данной антропологической единицы, именуемой народом. Евразийство, отвергающее экономический материализм, не видит никаких оснований принять материализм антропологический, философски еще гораздо менее обоснованный, чем экономический. В вопросах культуры, составляющей область свободного целеустремленного творчества человеческой воли, слово должно принадлежать не антропологии, а наукам о духе — психологии и социологии».

(Продолжение следует).



ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

СТАНЮКОВИЧ Я. В.

ПАМЯТИ МАРИИ ДОМБРОВСКОЙ

Все доброжелатели польской культуры должны помянуть сердечными словами одну из ярчайших ее представительниц — классика современной литературы — Марию Домбровскую. В октябре прошлого года исполнилось 100 лет со дня ее рождения, в мае нынешнего — 35 лет со дня кончины.

Имя Марии Домбровской привлекло внимание русских читателей еще в самом начале ее творческого пути: вскоре после выхода книги «Люди оттуда», ставшей очень популярной в Польше, в 1928 г. появился ее русский перевод. Последовавшая затем долгая «пауза» в появлении ее переводов объясняется теми же причинами, по которым и творчество многих наших прекрасных отечественных писателей начинало становиться доступным лишь с середины 50-х годов. Подобным образом сложилась и судьба произведений Марии Домбровской в нашей стране. Только после известных сдвигов в нашей культуре стали издаваться главные ее произведения: «Рассказы» (1957), роман-эпопея «Ночи и дни» (1964), «Избранное» (1974, серия «Библиотека польской литературы»). Ее повести и рассказы постоянно включались в сборники современной польской прозы, выходявшие в нашей стране, печатались в журналах, особенно в «Иностранной литературе», где публиковалась и яркая публицистика писательницы.

Мне выпало счастье познакомиться с Марией Домбровской: в 1953 г. она приезжала к нам в составе делегации польских писателей вместе с с Анной Ковальской и Юлианом Стрыйковским, а я (в качестве сотрудницы Союза советских писателей) помогала им знакомиться с нашей жизнью. Благодаря этой встрече стало возможным понять, как именно возникают ее глубоко реалистические произведения. И нашу жизнь, и наших людей она рассматривала с истинно гоголевской пристальностью и вдумчивостью. Удивительно, но за недолгий срок поездок по нашей стране, Домбровская сумела уловить и оценить суть «русской души», о чем она тепло говорила при встречах и перед отъездом.

Затем завязалась переписка, связанная с изданиями ее произведений. И здесь можно было поражаться глубине ее проникновения во все тонкости и нюансы, чтобы не допустить неточности или инотолкования. В письмах она была прямой и непреклонной. У меня хранится много писем Домбровской, а одно из них, кажется, еще и сегодня не остыло от «гнева», с которым она высказала мне без всяких оговорок замечания по поводу моей первой попытки обрисовать ее творчество в «рамках» привычной для начала 50-х годов схемы, которую теперь мы справедливо называем «догматической». Эта откровенная оценка стала хорошим уроком, хочу надеяться, что мои последующие предисловия к ее книгам не грешат хотя бы таким недостатком.

Общение с Марией Домбровской всегда приносило огромную духовную

Станюкович Ядвига Владиславовна — старший научный сотрудник Института мировой литературы им. А. М. Горького.

радость. Она была страстным и заинтересованным собеседником. Глубокие мысли, свобода и горячий патриотизм ее суждений в те глухие годы много давали для размышлений о сути вещей. И чем ближе я узнавала Домбровскую, тем понятнее становилась для меня частая в польской критике оценка ее души, отраженной в книгах: «чистая — как слеза».

Такой же была Мария Домбровская и во время своего второго (и, увы, последнего) приезда в Москву в 1959 г. Она радовалась нашей «оттепели», гордилась успехом польской живописи на первой выставке в Манеже «Искусство стран народной демократии», с радостью отмечала, что при встречах в Союзе писателей и в редакции «Иностранной литературы» уже «говорят» о творчестве Кафки, о Мареке Хласко, и, главное, знают их.

Можно найти подлинные свидетельства всего, о чем я рассказываю, в недавно выпущенных в Польше «Дневниках» Марии Домбровской. Этот труд писательницы и его издание — поистине уникальны. Все изучавшие творчество Домбровской знают, как много, до самозабвения, она работала, особенно в последние годы, когда — тяжело больная — завершала свой роман «Приключения мыслящего человека». Знавшие ее поражались, сколько могучих сил скрывалось в этой хрупкой женщине, сохранившей до склона лет девический задор. Мне кажется, что именно ее «Дневники» полнее всего выразили суть ее собранности, упорства в труде, ответственности перед долгом писателя: начав записи 31 июля 1914 г. она всю жизнь — почти ежедневно, иногда с небольшими интервалами — записывала то, что казалось ей достойным интереса. И так — до 8 мая 1965 г., почти до дня кончины, Домбровская писала свои «Дневники» — на протяжении 51 года! Изданные с огромным пиететом подлинным душеприказчиком Домбровской, известным польским литературоведом Т. Древновским, автором множества работ и талантливой обширной монографии, посвященной творчеству писательницы — «Rzecz Russowska», эти «Дневники» станут гордостью польской литературы, ибо в наш поспешный и суровый век трудно найти столь глубокое свидетельство жизни общества на протяжении половины столетия, созданное таким тонким художником, горячим патриотом и мудрым мыслителем.

Издание «Дневников» достойно высочайшей оценки. Пять строгих томов, тисненные золотом крупные заголовки, впечатляющее предисловие Т. Древновского, его исчерпывающие комментарии, поражающие небывалой полнотой, многочисленные фотоиллюстрации буквально из всех периодов жизни писательницы и ее окружения — все монументальное издание как бы заново подтверждает величие духа Марии Домбровской, ее значение для польской и мировой культуры.

Об этом значении много говорилось на Юбилейной сессии, проводившейся по случаю столетия со дня рождения Домбровской в ее родном городе Калише, где выступали и московские полонисты — Е. З. Цыбенко и А. В. Липатов.



ВЕЛИКОДНАЯ И.

ПОЛЬСКОЕ ЧЕТВЕРОСТИШИЕ П. А. ВЯЗЕМСКОГО

В 1818 г. начинается варшавский период жизни и творчества Петра Андреевича Вяземского, когда он с легкой руки приятеля своего отца, М. М. Бороздина, был устроен на службу в канцелярию Н. Н. Новосильцева, занимавшего тогда пост полномочного делегата при Правительствующем совете Царства Польского. Судя по письмам Вяземского А. И. Тургеневу из Варшавы он прибыл туда в феврале 1818 г. и оставался там до 1821 г. Несмотря на существующие исследования, посвященные отдельным проблемам польских связей П. А. Вяземского (см. [1—2; 3, с. 107—129]; 4—5), С. И. Бэлза отмечает: «Что касается 20—30-х годов прошлого столетия, то здесь, как известно, центральными фигурами в истории культурных связей русского и польского народов являлись Пушкин и Мицкевич. Менее изучена та значительная роль в развитии этих связей, которую сыграл современник Пушкина и Мицкевича Петр Андреевич Вяземский» [3, с. 127].

Мы считаем, что варшавский период жизни Вяземского до сих пор остается наименее изученным и таит в себе много загадок, вопросов, домыслов. Из статьи в статью, где упоминается этот период жизни Вяземского, кочуют одни и те же факты, данные, почерпнутые из записок и переписки Вяземского, и не сопровождаемые должным объяснением, расшифровкой.

Большой вклад в исследование данной проблемы внесли польские литературоведы, историки, например, К. Галон-Куркова, Е. Кухарска, своеобразно и глубоко разрабатывающие интересующую нас тему.

Не претендуя на окончательное решение всех связанных с этой темой вопросов, автор видит свою задачу во введении в научный оборот нового архивного материала с целью активизации изучения этого периода жизни и творчества П. А. Вяземского.

Известно, что находясь в Варшаве, Вяземский вел иностранную переписку в канцелярии Новосильцева, переводил и редактировал государственные бумаги. Что же касается творчества Вяземского этого периода, то все, «написанное Вяземским в это время, отмечено высшим „кипением“, до которого была способна доходить „ртуть“ поэта, любившего называть себя общественным „термометром“» [6]. Действительно, в поэзии Вяземского периода его недолгого пребывания в Варшаве преобладает общественно-политическое содержание, о чем свидетельствуют его сатирические и вольнолюбивые стихотворения «Сибирякову», «Петербург», «Уныние», «Во имя хартии свободной...», «Деревня», «Куда летишь? К каким пристаешь берегам...» и др. Вяземский считал, что «самая деятельная эпоха его стихотворной жизни было пребывание его в Варшаве» [7]. Помимо этого, Вяземский по собственному признанию «хотел... заняться обзорением Польской Литературы, и взаимным действием с ними, приступить,

Великодная Ирина Леонидовна — младший научный сотрудник Отдела редких книг и рукописей Научной библиотеки им. А. М. Горького МГУ.

посредством переводов, к полезной для обеих частей мене богатств литературных обоих народов, столь между собою сродных по общему источнику языков, разделенных прежде древнею враждою, но ныне тесно соединенных связями политическими. Легкие опыты были сделаны с обеих сторон...» [8]. Вяземскому принадлежат переводы некоторых басен И. Красицкого — «Два чижа», «Битый пес», «Два живописца», «Пастух и овца», «Осел и бык», «Чернильница и перо» и Ф. Моравского — «Круговая порука» и др.

Еще одна грань поэтического творчества Вяземского этого периода остается пока наименее изучена. На нее указал С. И. Бэлза: «Сохранились также стихи Вяземского, целиком написанные им по-польски» [3, с. 219]. Но нигде нам до сих пор не попадались какие-либо польские стихи князя Вяземского.

Известно, что еще до отъезда в Варшаву Вяземский пытается изучить польский язык. «Нет ли каких-нибудь учебных польских книг и вообще относящихся к истории польской и Польше? Я стал учиться польскому языку, но ни у меня, ни в Москве нет ничего польского, кроме „Польских“ Козловского и русских стихов Анастасевича. Сделай милость, дай мне руку помощи», — пишет Вяземский в конце сентября 1817 г. А. И. Тургеневу [9, т. I, с. 88]. Тот откликается на просьбу друга письмом от 5 октября: «Посылаю тебе два тома польских стихов, переведенных большею частию с русского. Понаведаюсь у х/олу/я Анастасевича о букварях и хрестоматиях и тебе доставлю, что найду. За что пришли мне из Варшавы историков польских» [9, т. I, с. 89]. И уже через две недели Вяземский пишет Тургеневу письмо, начиная его польскими словами: «Wielmożny Mości Dobrodzieju», а затем продолжает по-русски: «Благодарю тебя за польский подарок: ты мне прислал десерт, а я ожидаю хлеба: дай мне грамматику и дай мне лексикон!» [9, т. I, с. 90].

Из записей Елены Шимановской (см. подр. [10]) мы узнаем, что однажды Вяземский сочинил для нее два польских стихотворения. В Литературном музее им. А. Мицкевича в Варшаве хранится автограф Вяземского — запись в альбоме Целины Мицкевич от 1827 г., сделанная на польском языке, включающая и несколько поэтических строк.

Помимо этого Вяземский часто влетает польские слова в стихотворную ткань своих произведений, давая им написание иногда по-польски, а иногда по-русски. В этом смысле особенно показательно такое известнейшее стихотворение Вяземского, как «Станция». Переписка Вяземского этих лет и более поздние записи также пестрят польскими словами, выражениями.

Все эти польские элементы поэтического, прозаического и эпистолярного наследия Вяземского заставили нас продолжить поиски стихотворений Петра Андреевича, написанных на польском языке.

В ЦГАЛИ нами было обнаружено полоноязычное четверостишие П. А. Вяземского. Это незначительное на первый взгляд стихотворение хранится в Остафьевском архиве князей Вяземских, где оно приложено к письму П. А. Вяземского к А. И. Тургеневу, написанному в Остафьеве в 1821 г.:

O Warszawa, Warszawa! Sierca moiego oycyzna!
Moiego wspomnienia słodysz i trutizna!
Jak nie będą tobie ni pominac, z wieczora i z ranka
Niech mnie zapomną moi Bóg i moja Kochanka.

Ниже рукой же Вяземского приписано: «Nowy człowiek towarzystwa Przyjacioł (á osobliwie przyjaciółek) Nauk, miłości, mazurków, Wieiskiej Kawy, ponczków i t. p.» [11]. Совершенно очевидно, что это четверостишие, довольно слабое, неумелое, не уместяющееся в рамки какого-либо размера, принятого в польской поэзии, написано не для читателя. А приписка позволяет установить более точную дату написания этих строк и вспомнить те события, которые заставили князя Вяземского взяться за перо.

Известно, что в 1821 г. Вяземский был удален из Варшавы, как представляется, при странных обстоятельствах, которые еще предстоит более детально изучить. Вскоре Вяземский подал прошение об отставке, кото-

рое было удовлетворено, и до 1831 г. князь Петр Андреевич нигде не служил, отдавшись «служению музам» [12]. Но польские знакомства не прекратились. Вяземский ведет активную переписку со своими многочисленными польскими друзьями, знакомится с Адамом Мицкевичем, переводит и издает его сонеты, поддерживает связь с Ю. У. Немцевичем, М. Шимановской, с «польской колонией» в Петербурге. В 1828 г. Ю. У. Немцевич сообщил Вяземскому в частном письме, что Варшавское королевское общество друзей наук избрало его своим членом и «ждет лишь Вашего согласия, чтобы выслать Вам диплом. Этому событию Вы обязаны Вашими качествами, Вашему постоянному благожелательству по отношению к нашему несчастному народу» [13, с. 225]. Вскоре Вяземский получил и официальное подтверждение этого, подписанное председателем Общества Немцевичем. Вяземский ответил о своем согласии принять это звание письмом, написанным по-польски. А вскоре был получен диплом на звание члена Общества. Среди бумаг Общества хранится характеристика Вяземского, где указано, за какие достижения он удостоен этого звания: «знаток польской литературы, переводил басни Красицкого и Моравского, а также прозой сонеты Мицкевича. Писал элегии, поэтические послания и эпиграммы. Хорошо известен как человек, искренне расположенный к польскому народу и польской литературе» [13, с. 225].

Таким образом, вышеприведенные стихотворные строки, судя по приписке к ним, конечно же, должны датироваться 1828 г.

Несмотря на полусутопливую интонацию приписанных Вяземским прозаических строк, в строках поэтических присутствует грусть и горечь. Действительно, Вяземский в Варшаве испытал и сладость надежд, позволяющих по-новому взглянуть на будущее России и свое собственное, и яд разочарований, связанных с полным крушением этих надежд. В 1828 г. Вяземский мог с полным правом, оглянувшись на прожитые в Польше годы, сказать о Варшаве: «Сердца моего отчизна!» Еще в письме к А. И. Тургеневу в 1824 г. Вяземский так оценил этот период своей жизни: «...Варшаву также я люблю: в ней родилась и погасла эпоха деятельности моего ума. Все интеллектуальные поры мои были растворены; я точно жил душою и умом. Теперь половина меня заглохла и отнялась» [9, т. III, с. 73].

Польша оставалась для Вяземского неотъемлемой частью его жизни. Он всегда интересовался событиями политической и культурной жизни Польши, остро реагировал на развитие русско-польских отношений, всегда возвращался к ней в своих мыслях, переписывался до конца своих дней со многими польскими знакомыми.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Спасович В. Д. Князь Петр Андреевич Вяземский и его польские отношения и знакомства. — В кн.: Сочинения. Т. 8. СПб., 1896.
2. Czernobajew W. Ignacy Krasicki w literaturze rosyjskiej. — Pamiętnik Literacki, z. I. Lwów, 1936, s. 41—62.
3. Польско-русские литературные связи. М., 1970.
4. Лотман Ю. М. П. А. Вяземский и движение декабристов. — Уч. зап. Тартуского университета. Вып. 98. Тарту. 1960.
5. Ланда С. С. Вяземский и декабристы. Пушкин и его время. Вып. I. Л., 1962.
6. Нечаева Н. Вяземский — поэт. — В кн.: П. А. Вяземский. Избранные стихотворения. М.—Л., 1935, с. 23.
7. Вяземский П. А. Полное собрание сочинений. Т. 2. СПб., 1879, с. XII.
8. Греч Н. И. Опыт краткой истории русской литературы. СПб., 1823, с. 317.
9. Остафьевский архив. кн. Вяземских. СПб., 1899.
10. Балза И. Ф. Вторая тетрадь дневника Елены Шимановской. — В кн.: Славянский архив. М., 1963.
11. ЦГАЛИ, ф. 195, оп. I, ед. хр. 867, л. 2.
12. Живописное обозрение, 17 декабря 1878 г. Т. 2, № 41, с. 498.
13. Ланда С. С. О некоторых особенностях формирования революционной идеологии в России. 1816—1821 гг. (Из политической деятельности П. А. Вяземского, Н. И. и С. И. Тургеневых, М. Ф. Орлова.) — В кн.: Пушкин и его время. Вып. I. Л., 1962.



НИКОЛАЕВА Т. М.

СЛАВИСТИКА СОВРЕМЕННЫХ НИДЕРЛАНДОВ

Всякому филологу, серьезно стремящемуся разобраться в потоке издаваемой литературы, должно быть известно, каков процент филологических изданий, поставляемых Нидерландами. Место издания — Амстердам, Гаага или Дордрехт. Эту библиографическую помету можно встретить на многочисленных периодических изданиях, фундаментальных *Festschrift*'ах и отдельных интересных монографиях. Многие издания предпринимаются совместно с другими странами. Словом, если оценить ситуацию сегодняшнего дня, Нидерланды являются центром лингвистических публикаций по крайней мере в европейском масштабе. Пожалуй, на общем фоне высокого уровня голландской науки, насчитывающей по меньшей мере четыре века интенсивного существования, славистика и не занимает ведущего места. Однако о голландской науке и о ее уровне в целом (а уровень этот, видимо, неотделим от общего уверенного процветания этой страны) говорить в пределах этой статьи, ориентированной на славистику, не приходится.

О славистике необходимо прежде всего сказать, что, как и в других странах, она включает в себя русистику. В рамках славистических семинаров львиная доля приходится на работы и курсы по русскому языку, в магазинах на полке «Славистика» стоят книги по русистике и т. д. Другие основные языки и литературы славянства — это сербохорватский, чешский и польский.

Главные центры университетской славистики Нидерландов — это Лейден, Амстердам, Гронинген (в значительно меньшей степени — Утрехт). Как будет ясно из сказанного ниже, преподаются славистические дисциплины очень широко, но создалось впечатление, что руководствуются при этом в основном интересами и возможностями преподавателей, а не жесткой заданностью обеспечения тех или иных предметов. Роль отдельных личностей при таком расписании виднее: едут учиться не таким-то дисциплинам, а у такого-то профессора. Соответствует этому и непривычная для нас система докторских защит. Диссертант защищает у определенного профессора — в зависимости от совпадения научных интересов. Поэтому говорят: я защищаю у Кортландта, а я защищал у Эбелинга и т. д. Тот профессор, к которому обратились с просьбой о защите, вместе с диссертантом предлагает — каждый раз особую — одноразовую комиссию из 7—8 человек компетентных ученых; ознакомившись заранее с диссертацией, все они должны во время защиты задать по 3—4 вопроса и кратко высказаться по поводу защищаемой работы. Диссертант, стоя, с секундантами — потенциальными помощниками — слева и справа (мужчины во фраках), отвечает на вопросы, сообщает ранее краткое содержание работы. После чего комиссия (а ее ритуальный костюм — суконно-бар-

Николаева Татьяна Михайловна — д-р филол. наук, зав. сектором структурной типологии славянских и балканских языков Института славяноведения и балканистики АН СССР.

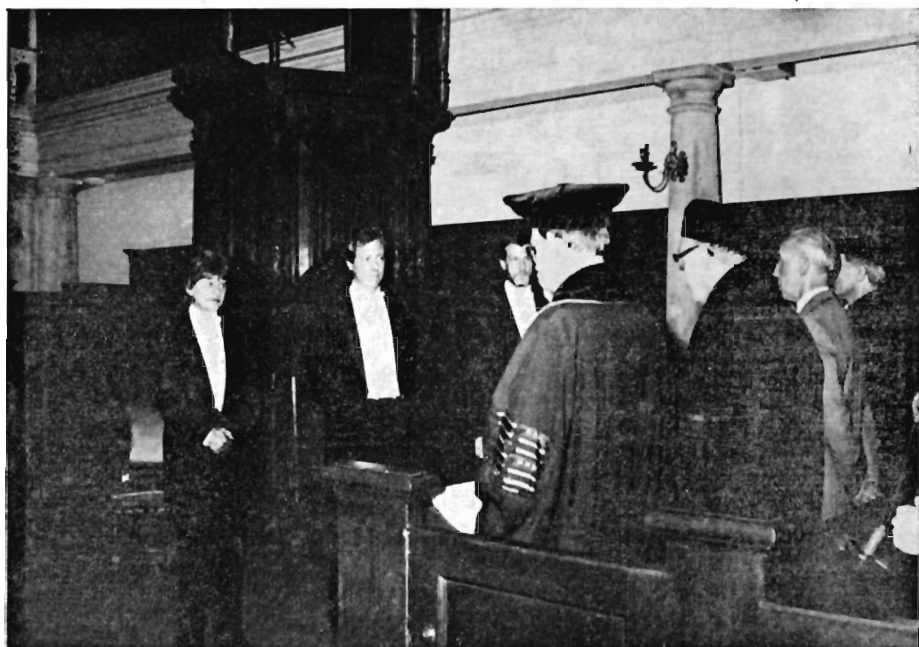


Рис. 1. Защита докторской диссертации Э. де Хаарда (в центре) в университете Амстердама

хатные мантии до пят и бархатные береты) удаляется на совещание и в случае позитивного решения торжественно оглашается диплом доктора, написанный по-латыни.

В самом старом голландском университете, в Лейдене, созданном, по преданию, в 1575 г. по приказу Вильгельма Оранского в благодарность за мужественную борьбу лейденцев против испанцев, в настоящее время учится на всех курсах **примерно** 200 студентов-славистов. По сначала целесообразно хотя бы кратко сказать о том, какие же филологические курсы вообще читаются в Лейденском университете. **Это** — общее языкознание и общая фонетика; сравнительное языкознание, для которого необходимо пройти курс компьютерной подготовки и познакомиться с языками: алтайскими, афроазиатскими, американоиндейскими, баскским, дравидийским, языками Кавказа, сино-тибетскими языками. Специально существуют направления — латинское и греческое, нидерландское, французское, итальянское, языков Латинской Америки, немецкое, английское, фризское, древнегерманское, славянское, ассириологии, ебиро-арамейское, арабское, современного персидского языка, тюркское, эфиопское, египтология, индоиранские языки и культура, индонезийское, китайское, японское, корейское и африканистики. Как видно из этого вызывающего зависть перечня, славистике отводится место достаточно скромное.

Центральной фигурой славистики и индоевропеистики университета Лейдена, несомненно, является профессор Ф. Кортландт. Он читает курсы: балто-славянские контакты, прусский, литовский, латышский языки, курс **сравнительной** грамматики славянских языков. Сразу же можно с огорчением отметить, что, несмотря на то, что все акцентологи — ученики и последователи Ф. Кортландта — прекрасно знакомы с работами В. А. Дыбо, А. А. Зализняка и других и очень высоко их оценивают, литература **для студентов** рекомендуется сугубо «западная», пусть даже и не новая. Это, например, *C. S. Stang. Slavonic Accentuation, 1957; R. Trautmann. Die altpreussischen Sprachdenkmäler, 1940; J. Endzelin. Lettisches Lesebuch, 1922* etc. Иначе говоря, обычно **рекомендуется** научная литература на трех основных языках Европы, что несколько странно хотя бы потому, что эти же студенты должны читать, например, на рус-



Рис. 2. Комиссия вручает диплом после защиты. Текст читает председатель — проф. Кортландт (Лейден)

ском языке не только Толстого, Достоевского, но и в оригинале самую сложную прозу русского авангарда.

Второй фигурой Лейденского университета является югославист и акцентолог В. Вермеер. Он читает курсы славянской акцентологии, старославянского языка, истории русского языка (см. ниже о его акцентологических исследованиях). Доктор Х. Пруме преподает историческую грамматику как особую дисциплину, а также чешский, словацкий, польский, лужицкие языки. Балканские славянские языки читает доктор Б. Груш; это курсы: введение в славянское языкознание, фонетика и фонология, болгарский язык, словенский, русская диалектология. П. Хендрике преподает сербохорватский язык, македонский, албанский, формальную семантику и вычислительную лингвистику. Преподается также и украинский язык, а также история славистики как отдельной ветви языкознания. Характерно, что, кроме Ф. Кортландта, практически большая часть указанных преподавателей в той или иной степени участвует в преподавании русского языка в его синхронии и диахронии. Кроме того, практические знания русского языка сообщаются на специальных занятиях. Читается и курс русского страноведения, точнее, типа «картина мира» в русском менталитете (Ф. Каплан). Старославянский преподает и общий языковед А. Лубоцкий. Именно с русским языком связаны многие курсы литературоведения, в Лейденском университете меркнущие перед блистательной лингвистикой. Это русская литература XVIII в. (А. Мейнтема), поэзия и проза русской классической литературы и поэтика русского формализма и авангарда (В. Амеенга). Вообще, авангард изучается на самых ранних этапах освоения русского языка. См., например, сочетания классики и авангарда в списке рекомендуемой литературы (в оригинале) на младших курсах: А. П. Чехов. «Дама с собачкой»; М. Ю. Лермонтов. «Фаталист»; А. С. Пушкин. «Выстрел»; Ф. К. Сологуб. «Баранчик»; Л. Н. Толстой. «Три старца»; Д. И. Хармс. «Столяр Кушаков».

Преподавать в Лейденском университете очень почетно, однако многие из названных лиц совмещают эту работу с преподаванием и научной работой в других местах, чтобы набрать полную ставку, равную условной единице.



Рис. 3. Программа курса по славистическим дисциплинам в университете Лейдена

Вторым ведущим центром славистики является университет Амстердама, где, в отличие от Лейдена, языкознание и литературоведение представлено практически в равной степени. Славистический семинар (так во многих университетах Европы называется нечто, аналогичное нашей кафедре) собирает всех славистов на еженедельное вечернее заседание, на котором обсуждаются доклады участников семинара или иностранных (и иногородних) гостей. Несомненно также, что в Амстердаме доминирует русистика — как литература, так и языкознание. Так, курс *Slavia Orthodoxia* (900—1700) и древнерусскую литературу читает В. Федер, классическую литературу — Э. де Хаард, литературу авангарда и самую современную литературу — В. Вестстейн, русскую поэзию — М. Гругар. Необычны и некоторые «спецсеминары» для русистов — по творчеству Родченко, Малевича. Вот, например, одна из программ для русистов-литературоведов: Древнерусская литература — Русская версификация — Драматология — Русская нарратология и ее система — Русский формализм — Чешский структурализм — Семиотика в славянских странах — Романтизм — Реализм — Литература авангарда — Литература после 1953 г.

Профессором по славянской литературе — а профессоров в семинаре может быть только два: литературовед и языковед — до 1990 г. был Ван дер Энг, много лет занимавшийся именно русской литературой.

Русский язык в Амстердаме был много лет связан с профессором К. Эбелингом, хорошо известным славистам многих поколений. Недавно он вышел на пенсию. Русским языком занимается (параллельно с сербохорватским) и интересная исследовательница грамматики, просодии и синтаксиса Е. К. Кейспер, в тридцать лет с небольшим защитившая докторскую диссертацию и ставшая в известной степени лидером авангардного (и отчасти феминистского) научного крыла в пределах достаточно традиционного нидерландского языкознания.

Собственно русский язык (грамматику, в особенности аспектологию) интенсивно изучает А. Барентсен, жена его, В. Барентсен, преподает разговорный русский. Также преподают русский Б. Беккер и Я. Гвозданович (параллельно занимающаяся сербохорватской акцентологией и грамматикой).

Польскую грамматику и литературу преподают А. Недерберг, Е. Мейкнехт и М. Плахецкий. В программе изучения польской литературы — творчество М. Рея, Я. Кохановского, З. Морштына, И. Красицкого, Ст. Трембецкого, Фр. Карпинского, Ю. Немцевича — из старых авторов. Конечно, проходятся А. Мицкевич, Ю. Словацкий, Ц. Норвид. Из авторов XX в. — Я. Каспрович, К. Тетмайер, Л. Стафф, Ю. Тувим, Я. Лехонь, К. Ветинский, В. Броневский, Ю. Пшибось, К. Галчинский; наконец, Ч. Милош, З. Херберт и Т. Ружевиц.

Чешский язык преподают А. Григар-Рехцигель, М. ван Дойкфен-Храбова, А. де Йонг Стунова, чешскую литературу — М. Григар и К. Маркс.

Как уже упоминалось выше, сербохорватский язык представлен в Нидерландах многими специалистами и интересными исследованиями, о которых будет сказано ниже. Нельзя не отметить, что именно в программе



Рис. 4. Здание университета в Гронингене (Сев. Голландия)

языковедения указывается литература, вышедшая в Югославии и написанная на сербохорватском. Студенты-югославы обязаны учить не только второй (славянский) язык, но и балтийский язык (литовский или латышский). Сербохорватский язык и литературу преподают в Амстердаме Б. Бреликович-Таат, Я. Гвозданович, Я. Калсбекк, В. Костер-Бурхардт и С. Ласич.

Третьим университетским центром славистики является северный город Гронинген, расположенный рядом с фризскими землями и фризскими городами. Университет Гронингена существует с 1619 г. Число студентов-славистов в нем около 170, это очень много для небольшого города небольшой страны.

Прежде всего славистика здесь связана с именем профессора Андре ван Холька, слависта с международной известностью. В течение многих лет он был членом Международного комитета славистов (примерно с 1970 до 1988 г.). С 1963 г. А. ван Хольк преподает русскую литературу, древнерусский язык, основы индоевропеистики, сравнительное изучение индоевропейских языков, польскую литературу. Помимо славистических исследований, А. ван Хольк активно занимается эскимологией (язык, мифология, культура) в Арктическом центре (научная база — Гренландия). Совместно с английскими учеными он участвует в работе кружка неоформалистов, в настоящее время готовится к изданию его новая книга «Тема и пространство (о русской и польской драме)».

Русскую литературу XIX и XX вв. в Гронингене ведет доктор наук Й. ван Баак, много занимающийся поэтикой русского авангарда, особенно типологией семиотики пространства в различных жанрах. В своих работах он следует за широко известными в Нидерландах исследованиями В. Н. Топорова и Ю. М. Лотмана.

Методологически связан со школой нашей отечественной семиотики и известный нидерландский эссеист, публицист, критик и переводчик

русской поэзии К. Верхеул, также преподающий в Гронингене. Он занимался А. Платоновым, издал книгу об А. Ахматовой: «The theme of time in the poetry of Anna Achmatova», 1971; в настоящее время пишет роман о Ф. Тютчеве. Практический русский и занятия русской литературой ведет д-р В. Пушкин. Балканистикой, сравнительной акцентологией южнославянских говоров занимается в Гронингене П. Хоутзагерс, преподающий также и русский язык. (У большинства славистов нагрузка преподавания русского языка примерно достигает 12 часов в неделю.)

Современные болгарский и сербохорватский языки (а также литературу этих стран) читает д-р Э. Агостон-Николова, польский язык и литературу, а также лужицкие языки (которые преподаются только в Гронингене) — Х. Брэйнен. Есть в Гронингене и курс новогреческого языка.

Как видно из сказанного выше, центрами развития славистической науки в Нидерландах являются университеты со сложившейся системой славистических семинаров.

Университетская наука Голландии имеет долгую и славную традицию. Но такова же и издательская традиция, в особенности традиции языковедческих изданий. Вообще об издательской культуре Голландии можно говорить начиная с XVI в., что связано с развитием мореплавания и потребностями в интерязыковом общении. Отсюда — первоначальный интерес к языкам классического интеробщения — латинскому, греческому, затем — к языкам Востока, особенно — к индонезийскому. После второй мировой войны, когда Нидерланды утратили колонии, интерес переместился к языкам других групп, в частности — славянским. И здесь в первую очередь необходимо сказать об издательстве «RODOPI», основанном в 1966 г. Питом Шипперсом и двумя коллегами. По первым двум буквам имен трех основателей: Ro(land) Grüner, Do(lf) Hakker, Pi(et) Schippers и было названо издательство «RO-DO-PI» (это наименование часто считают связанным с горным массивом Родопы).

Сначала издательство специализировалось на репринтах — издавались учебные университетские тексты, в основном античных, средневековых и ренессансных авторов. Печатная продукция направлялась преимущественно в многочисленные университеты Соединенных Штатов. К началу 70-х годов университетские потребности были насыщены. Издательство с 1976 г. стало выпускать серии изданий разной проблематики, заручившись постоянными консультациями виднейших специалистов, рекомендующих те или иные книги к печати. Согласно Генеральному каталогу 1987 г. (General Catalogue 1987, Editions RODOPI) издательство «RODOPI» выпускает в настоящее время 41 серию монографий. Это, в частности, «Amsterdam Studies in Theology»; «Avant-Garde»; «Biblioteca Hispanoamericana y Española de Amsterdam»; «Studies in Classical Antiquity»; «Indices Verborum zum Altdeutschen Schriftum» и под. Славистика представлена двумя сериями: «Studies in Slavic and General Linguistics» и «Studies in Slavic Literature and Poetics». Консультантами Фр. ван дер Зее, возглавляющего сейчас издательство, являются уже упоминавшиеся видные слависты А. Барентсен (Амстердам) и А. ван Хольк (Гронинген). Все издательство, имеющее большие доходы и издавшее более 700 фундаментальных монографий, помещается в нескольких маленьких комнатах; издательский процесс осуществляется одной семьей, из трех (или четырех?) человек. Книги языковедческой славистической серии по проблематике тяготеют к южнославянскому ареалу — топографически и к акцентно-фонологическим вопросам — по проблематике. Это сборники «South Slavic and Balkan Linguistics», 1982 и 1987 (см. рецензию на последний сборник в «Советском славяноведении», № 3 за 1989 г.), монографии: *H. P. Houtsagers*. The Sakavian Dialect of Orlec on the Island of Cres, 1985; *J. P. Hinrichs*. Zum Akzent im Mittelbulgarischen, 1985; *J. Press*. Aspects of the Phonology of the Slavonic languages, 1986. В этой же серии вышли и сборники нидерландских славистов к IX (Киев, 1983) и X (София, 1989) съездам славистов. Особняком стоят монография *J. Schaeken*. Die Kiever Blätter, 1987 и сборник работ по русистике — «Dutch Studies in Russian Linguistics», 1986. Издана и собственно теоретическая работа

по языкознанию — монография — *C. E. Keijsper. Information Structure. With Examples from Russian, English and Dutch*, 1985. Таким образом, за десять лет существования серии издано 12 книг нидерландских славистов, специализирующихся по лингвистике. Двенадцатая книга (сборник статей) посвящена замечательному нидерландскому слависту Николаю Ван-Вейку (1880—1941) и издана к 75-летию основания кафедры балтославистики в университете Лейдена. Сборник представляет и работы по фонологии, и по старославянскому и прусскому языкам, и по акцентологии. Интересы Н. Ван-Вейка отражены и в специальной статье М. Янсена с заглавием-цитатой из Ван-Вейка: «Россия была и будет для нас тайной».

Литературоведческая славистическая серия издательства являет по своей проблематике совершенно другую картину в сравнении с лингвистической. За исключением специального сборника к съезду славистов в Киеве, подготовленного А. ван Хольком, все остальные книги серии — это книги по русской литературе или о русской литературе (в дальнейшем все названия даются по-русски). Это одна книга о XVIII в. (басни Крылова: Х. Гамбургер, 1981); шесть сборников и монографий по XIX в. — о генезисе и морфологии языка символов в поздней прозе И. С. Тургенева (В. Кошмаль, 1984); о русском рассказе (материалы симпозиума в Утрехте по русскому рассказу XIX и XX вв. Подг. Р. Грюбель, 1984); о лирике А. К. Толстого (С. Д. Грэхэм, 1985); «Анне Карениной» (А. Н. Кисман-Марвиц, 1987); о рассказах Н. В. Гоголя (Р. М. Вашинок, 1988); *И. П. Смирнов. На пути к теории литературы* (1987); (*И. П. Смирнов — единственный из обеих славистических серий «посторонний» для Нидерландов автор*).

Остальное — XX в. Это — поэзия: *В. Вестстейн. Велимир Хлебников и развитие поэтического языка в русском символизме и футуризме* (1983); *Велимир Хлебников. Миф и реальность. Изд. В. Вестстейн* (1986); *Р. Зиман. Поэзия позднего Манделштама. Текст и контекст* (1988). И проза: *Й. ван Баак. Место пространства в повествовании. Семиотический подход к проблеме литературного пространства. Анализ роли пространства в «Конармии» И. Бабеля* (1983).

Несколько лет назад слависты Нидерландов обрели новый специальный журнал «*Tijdschrift voor slavische literatuur*», выходящий в Амстердаме на голландском языке. Цель его — ознакомить со славянским миром широкого голландского читателя, не читающего ни на одном из славянских языков. Одна треть объема журнала занята обычно славянскими литературами, а две трети — русской. Хотя в этом же журнале был помещен перевод «Жития Аввакума», основная установка журнала — на современность. Также в журнале нет установки на строгую научность, скорее, на фактографическую занимательность. По мнению редакторов журнала (К. Верхеул и В. Вестстейн), научное литературоведение в настоящее время отстает от современных литературных моделей. Соответственно в таком же ракурсе преподносятся факты польской и чешской литератур. Например, номер журнала за август 1989 г. содержит статьи о рецепции русской литературы в Европе 1789—1989 гг., интервью с Т. Н. Толстой, переводы Пильняка, Бабеля, Булгакова, Ст. И. Виткевича.

Наконец, в Амстердаме на базе издательства «Elsevier» выходит международный журнал «*Russian literature*» (редакторы — Н. А. Нильсон и К. ван дер Энг), снискавший себе за многие десятилетия заслуженное международное признание. Печататься в этом журнале очень почетно, и необходимо заметить, что имена В. Н. Топорова, Т. В. Цивьян и других наших ученых занимают в журнале почетное место — не только по публикациям, но и по частым ссылкам. Вообще нидерландские русисты-литературоведы (о лингвистах этого как-то нельзя сказать) принципиально и успешно ориентируются на русскую школу, начиная от формалистов 20-х годов и кончая структурно-семиотическим подходом к анализу текста.

Существуют и специальные университетские славистические издания.

Так, например, в Публикациях Славистического семинара университета Гронингена за три года вышло в «малой серии» девять публикаций (в виде брошюр) А. ван Холька: О теме «силы денег» в «Бесприданнице» А. Н. Островского (1985); Вид глагола и глубинная структура текста (на материале «Медного всадника» А. С. Пушкина) (1985); Magnanimus Major: текст-лингвистический подход к тематике «Фантазий» Ю. Словацкого (1985); Текст-лингвистические наблюдения над структурой действия (1985); Синтаксис «продажи» в «Вишневом саде» А. П. Чехова (1986); О контрастивных функциях русского фразового ударения (1986); Заметки об активе-пассиве в геометрической модели синтаксической структуры (1986); Синтаксические операторы (1987); Текст-лингвистика и характер: о глубинной структуре Печорина (1987).

Эти вызывающие зависть издательские возможности реализуются на фоне поразительного публикационного процветания Нидерландов. Напомним, что славистика — это очень малая часть филологических интересов германоязычной страны, ориентированной на Север. Поэтому слависты, разумеется, публикуются и в несобственно славистических изданиях Нидерландов. Рассказав об университетской славистике и о славистических изданиях этой страны, в заключение считаем целесообразным остановиться на славистической проблематике, на том, что именно в славистике кажется интересным, какие вопросы ставятся и находят свое разрешение.

В литературоведческих работах — а, как уже упоминалось, это на 90% работы по русской литературе — характерно для исследований два начала, две единицы рассмотрения. Это, условно говоря, X и Y, где X есть некоторое категориальное метапонятие, а Y — объект изучения.

Ср., например, следующие работы (названия даются по-русски): А. ван Хольк. Мифологическое действие в структуре авангардных произведений (на примере «Голого года» Б. Пильняка); Й. ван Баак. Пространство в прозе авангарда: «Конармия» И. Бабеля; Нарративные и антинарративные структуры в творчестве раннего Толстого (докторская диссертация Э. де Хаарда); Т. Экман. «Обрамленная повесть» в русской литературе, в особенности у А. П. Чехова. Подобный подход представляется гораздо более литературоведческим в полном смысле этого слова, чем описание «творческих путей» или «творчества писателя в такие-то и такие временные отрезки». К сожалению, в применении к иноязычной литературе у нас до сих пор преобладает подход литературно-биографический, который с натяжкой еще можно считать историко-литературным. При подобном подходе утрачиваются и не рассматриваются концепты литературоведения как науки, поскольку ось времени не есть факт литературоведения. Иначе говоря, у нас рассматривается только Y, т. е. объект, и проблематика тем самым утопает в тематике. Однако и в нидерландских исследованиях по литературе можно выделить предпочитаемые объекты, это — А. С. Пушкин, Л. Н. Толстой, А. Н. Островский, А. П. Чехов. Можно заметить также, что этот же набор преобладает у русистов Финляндии и Франции. В то же время есть и другая тенденция у зарубежных русистов — заниматься малоизвестными писателями и малоизвестными произведениями. В этом случае опять остается только Y, т. е. объект.

Некоторые темы несколько непривычны для нашего литературоведения. Например, это разрабатываемая Й. ван Бааком тема русского Севера в русской литературе и стоящей за этим «картины мира». Он же предлагает, например, в качестве определения жанрового многообразия и выделения отдельных жанров квалифицировать их через отношения к пространству. (*J. van Baak. Visions of the North: Remarks on Russian Literary World-Pictures.* — In: *Dutch Contributions to the 10-th International Congress of Slavists. Sofia, 1988.*)

В частности, в «Конармии» И. Бабеля выделяется семь видов пространства: 1) польское, 2) собственно пространство войны, 3) городская среда; 4) религиозное пространство; 5) «деревенское» пространство; 6) казачье пространство; 7) пространство рассказчика (*J. J. van Baak. Про-*

странство в прозе авангарда.— Russian literature, v. XX, 1986, № 1).

Влияние работ Ю. М. Лотмана, В. Н. Топорова, Б. А. Успенского на нидерландское литературоведение несомненно. Ранее же — через А. ван Холька и его учеников — чувствовалось преемственное отношение к Р. Якобсону и идеям Пражского лингвистического кружка. Так что пересечение подходов и концепций с нашим семиотическим крылом литературоведения вполне закономерно.

Пересечение лингвистических интересов тоже несомненно, но в значительно меньшей степени объяснимо. Как уже говорилось, лингвистику Нидерландов во многом объединяет интерес к южнославянским языкам с исследовательским ядром — исторической акцентологией (хотя практики все слависты имеют публикации и по современному русскому языку). Трудно в обзоре пытаться понять, почему сложилось именно так: во-первых, пути науки неисповедимы и принципиально должны быть таковыми, во-вторых, анализ ведет к более глубоким корням возникновения международно-значимой теории исторической акцентологии и у нас в стране, а отсюда — вообще к эволюции диахронического языкознания.

Разумеется, в центре этих занятий находится фигура профессора Ф. Кортландта. На его собственно индоевропейских работах сейчас нет смысла останавливаться, поскольку мы в данном обзоре сосредоточиваемся на славистике. Показательны в этом отношении работы такого интересного слависта Нидерландов, как В. Вермеер, успешно представляющего «среднее» поколение ученых (по нашим представлениям, это молодой ученый, так как у нас возрастной уровень активного поколения сдвинут, по сравнению с европейским, примерно на десять лет: у нас основа — люди за 50, у них — за 40). Это работы, в частности, по чакавской системе: «Problems in the Synchronic and Diachronic Phonology of Susak Čakavian» (1975); «Die Konjugation in der nordwest-čakavischen Mundart Omišalj» (1980); «On the Principal Sources for the Study of Čakavian Dialects with Neocircumflex in Adjectives and *e*- presents» (1982); «Opposicija tipa „živo / neživo“ u množini u jednom čakavskom sistemu» (1984); «Glagol *iti* u južnočakavskom književnom jeziku Mletačka Dalmacije» (1987); «Remarks on Variation in Classical Čakavian» (1988). Опубликованы им и работы по кайкавским диалектам, по резьянским словенским говорам, по русским говорам Севера в свете общеславянского и т. д. В последних работах ученый переходит к конструктивным обобщениям: Some Sandhi Phenomena Involving Prosodic Features (Vowel Length, Stress, Tone) in Proto-Slavic, Serbocroatian and Slovenian.— In: Sandhi Phenomena in the Languages of Europe. Berlin, 1986; Traces of an Early Romance Isogloss in Western Balkan Slavic.— In: Slavistična Revija, 1989, v. 37, № 1—3; In the Beginning was the Lengthened Grade: on the Continuity of Proto-Indo-European Vowel Quantity in Slavic (in print).

Таким же ярким по научным достижениям ученым можно считать другого представителя молодого поколения Еву Корнелию Кейспер. Она автор исследования о нештокавской сербскохорватской просодии, о перцепции сербскохорватских тональных акцентов. Есть у нее и работы по русской интонации (о «загадочном» ИК-6 Е. А. Брызгуновой), о типологической русской и нидерландской интонационных систем, но и о русской «связке» *ne*, о порядке слов в русском. Она издала также теоретическую монографию: «Information Structure» (1985); подготовила интересный международный сборник по просодии.

Необходимо в этом ряду назвать и имя Х.-Р. Хоутзагерса, опубликовавшего объемную монографию о чакавском диалекте (см. выше). Он же занимался и кайкавскими диалектами, чакавскими диалектами на острове Паг, а также русским предлогом *благодаря*. Среди нидерландских балканистов важно назвать также имена Х. Е. Ван-ден-Берга, Р. Х. Дерксена, Б. М. Груна, Я. Камбек, Х. Пейненбурга, Х. Стенвейка, П. Хендрикса, Я. П. Хинрикса, Я. Шекена, Я. ван Тильбурга. Как уже указывалось ранее (Т. М. Николова. Рец. на книгу Dutch Studies in South Slavic and Balkan Linguistics. Amsterdam, 1987.— «Советское славяноведение», 1989, № 3), сильной стороной нидерландских славистов является

тщательно аргументированный пересмотр классических и как бы общепринятых точек зрения на структуру уровней отдельных диалектов (вокализм, консонантизм, акцентная система). Так, например, пересматривается описание Бодуэном де Куртене вокализма в резьянском говоре, предлагается упрощенный и более строгий вариант (вообще резьянскому словенскому уделяется большое внимание). Большая часть исследований возникает благодаря длительному пребыванию автора в какой-либо зоне южнославянских языков (часто это островные диалекты), в результате чего появляются фундаментальные описания.

Хотя выше и говорилось весьма критически о том, что нидерландские студенты-слависты не обязаны читать в качестве обязательной научную литературу на славянских языках, в особенности на кириллице, это, конечно, не относится к славистам-исследователям. В работах упомянутых ученых часты ссылки на русские работы, в том числе и на работы сотрудников Института славяноведения и балканистики АН СССР: В. А. Дыбо, А. А. Зализняка, В. Э. Орла, труды которых вызывают большой интерес.

Исследования по русскому языку в большей степени связаны с синтаксисом и морфологией. Многие из русистов Нидерландов являются прямыми или косвенными учениками профессоров А. ван Холька и К. Эбелинга и отражают интересы своих учителей. В настоящее время нидерландские русисты группируются вокруг А. Барентсена, который, как уже упоминалось, является консультантом по лингвистике издательства «RODOP».

В 1987 г. этим издательством выпущен специальный сборник («Dutch Studies in Russian Linguistics». Amsterdam). Несколько статей в нем посвящены русскому глаголу: Н. Герритсен. «-ся и себя»; Я. Гвозданович. «О пассивном причастии прошедшего времени: его значение и употребление в 1-й Новгородской летописи»; Х. Хамбургер. «Мультифункциональность в видовой детерминации в русском языке»; П. Хендрикс. «Редукция в русском спряжении: категориальный анализ»; А. Полс. «Приспособлять(ся) или приспособляваться(ся)?»; А. Стунова. «Аспект и итеративность в русском и чешском: контрастивное исследование». Особое место занимает анализ отдельных лексем: А. А. Барентсен. «Употребление частицы *было* в современном русском»; Х. Ходтзагерс. «О русском *благодаря*»; Л. Одейк. «*Благодаря*: реплика. Синтактико-семантический анализ высказывания»; А. Бреунис. «Логический анализ фраз типа *можно курить*»; А. ван Хольк. «О семантике и синтаксисе дискурса: текст-лингвистический подход»; К. Е. Кейспер. «Между связкой и не-связкой: наблюдения над русским *не*». Отдельно стоит по проблематике статья Б. Груна о геминированных палатальных и аффрикатах; А. Мейнгена о генетиве и аккузативе в русских негативных конструкциях и уже упоминавшаяся работа В. Вермеера: «The Rise of the North Russian Dialect of Common Slavic».

Принципиально новой по проблематике в нидерландской славистике является работа С. Оде по перцептивному анализу русской интонации. С. Оде в течение нескольких лет выполняла экспериментальную работу по анализу русской интонации в Институте перцепции в г. Эйндховене (этот Институт весь подчинен единой проблематике: восприятию звуковых сигналов и финансово связан с всемирно знаменитой фирмой Филипс). При Институте работает группа лингвистов, о которых можно сказать, что значимость ставящихся и решаемых ими проблем неотделима от великолепия обслуживающей их ультрасовременной аппаратуры. Отвлекаясь от славистики, можно сказать несколько слов и об оборудовании экспериментально-фонетических лабораторий г. Гронингена, глядя на которые становится ясно: если в других лабораториях на обработку материалов тратятся месяцы, то здесь тратятся минуты. Кстати, фонетисты Нидерландов активно участвуют в совместных работах с медиками (восстановление речи) и инженерами-акустиком (работа по перцепции). (Разумеется, они получают и соответственные доходы.) С. Оде проводила большую работу по русской интонации и в лабораториях Москвы и Ле-

нинграда (см. ее статью в «Вопросах языкознания», № 4, 1989). Результатом этой большой работы явилась защищенная ею осенью 1989 г. докторская диссертация о перцептивных и не-перцептивных компонентах русской интонации.

Все перечисленные выше интересы нидерландских славистов-языковедов, разумеется, нашли свое отражение в монументальном томе, выпущенном к X Международному конгрессу славистов в Софии: «Dutch Contributions to the 10-th International Congress of Slavists. Sofia, Sept. 14—22, 1988». Amsterdam, 1988. Ни один из авторов не повторил здесь своих предыдущих публикаций, но сферы интересов каждого определенным образом очерчиваются. В сборнике 23 статьи и 645 (!) страниц.

В этом обзоре нам хотелось показать и подчеркнуть две вещи. Во-первых, речь шла о славистике в неславянской стране. И по славистике здесь сделано много. Но не меньше и в области востоковедения. Не меньше и по финно-угорским языкам. Иными словами, филология в Нидерландах вполне процветает. Во-вторых, хотелось показать, как много работают (и печатают!) люди, преподающие в университетах и завидующие нашим академическим возможностям чистой научной реализации.

Автор пользуется приятной возможностью поблагодарить профессора А. ван Холька, А. Барентсена, К. Верхеула, Е. Кейспер и Фр. ван дер Зее за подробные и ценные консультации и предоставление материалов.



ФРЕЙДЕНБЕРГ М. М.

МЮНХЕНСКИЙ ЦЕНТР БАЛКАНИСТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Слава Мюнхена как одного из мировых центров балканистики общеизвестна. Эти исследования уже давно обособились в самостоятельную отрасль знания, вышли из рамок университета Людвига и Максимилиана и ныне сосредоточены в пределах нескольких научных объединений. Одно из них, бесспорно ведущее, с общепризнанной европейской репутацией — это Südost-Institut, Юго-Восточный (точнее Юго-Восточноевропейский¹) Институт. Летом 1989 г. в ходе месячной научной стажировки в ФРГ мне довелось познакомиться с ним и его публикациями. С непривычной для нас готовностью к сотрудничеству его руководство предоставило в распоряжение сектора исторической славистики Калининского университета несколько томов своих изданий. Я получил возможность прочесть справочные материалы, характеризующие деятельность Института за годы его существования. Все это легло в основу настоящих заметок о деятельности исследователей, объединившихся вокруг Мюнхенского института по изучению стран Юго-Восточной Европы. На мой взгляд, она выразительно характеризует состояние сегодняшней западногерманской балканистики.

В середине 1990 г. Südost-Institut в Мюнхене отметил свое 60-летие — он был основан баварским правительством с одобрения властей Веймарской республики в июне 1930 г. Первоначальной задачей только что созданного учреждения было изучение жизни немцев, живущих на юге и юго-востоке Европы, преимущественно в Штирии, Каринтии и Тироле. Я не располагаю сведениями о том, каким был характер научных занятий Мюнхенского института в довоенные и военные годы. Среди его нынешних сотрудников господствует мнение, что следы прямого воздействия нацистских властей на деятельность Института единичны. В эти годы были заложены основы его будущих изданий — журнала, серии монографий, и выпущены в свет их первые номера. Все это связывается с именем молодого и энергичного директора, выходца из южной Венгрии, Ф. Валявца, в 1935 г. пришедшего к руководству Институтом.

Восстановление Института после 1945 г. шло с трудом. Нужно было освободиться от груза прежних идей, восстановить библиотеку, частично погибшую при бомбежках, получить финансовую поддержку (стоимость имущества Института уменьшилась с 100 тыс. марок до 3,5 тыс.) и набрать новых сотрудников. Штат Института в первые послевоенные годы составляли всего два человека — Валявец и его секретарь. Предстояло продолжить выпуск всех выходивших ранее изданий и сохранить в них

Фрейденберг Марэн Михайлович — д-р ист. наук, зав. кафедрой южных и западных славян Калининского государственного университета.

¹ В дальнейшем мы будем пользоваться аббревиатурой ЮВЕ. В его состав мюнхенские балканисты включают не только Югославию, Болгарию, Румынию, Албанию, Грецию, Турцию, но и Венгрию.

все лучшее из накопленного прежде. Это удалось — с 1952 г. было возобновлено издание журнала «ЮВЕ-Исследования» («Südost-Forschungen»), с 1953 г. — серии монографий «ЮВЕ-Труды» («Südost-Arbeiten»). С 60-х годов в работу Института постепенно включилось еще одно поколение балканистов — Ф. фон Шрёдер, Г. Хартль, Г. Краллерт-Саттлер, Д. Кифер, Д. Германи, Б. Сариа, Х. Неруцос и др. Руководство Институтом в 1960 г. после смерти Ф. Валявеца принял на себя М. Бернат, в наши дни его фактически осуществляет К. Неринг.

Ныне Мюнхенский институт по изучению Юго-Восточной Европы может законно гордиться той солидной базой, которая была создана в послевоенные десятилетия. В нее входит также и уникальная, оснащенная новейшей аппаратурой библиотека из 35 тыс. томов, самая большая библиотека по балканистике в ФРГ. Но особенно ярко представляет лицо Института «SO-Forschungen» — ежегодник объемом в 400-500 стр., в котором представлены и исследования, и критика с библиографией. Под эгидой Института было создано несколько культурно-просветительских обществ, среди которых выделяются «Юго-Восточно-немецкая историческая комиссия» (основанная в 1958 г.) и особенно «ЮВЕ-Общество» («SO-Gesellschaft», созданное в 1952 г.), превратившееся за последние годы в мощную, отлично финансируемую организацию, деятельность которой в ряде отношений оставляет позади и деятельность самого Института.

Целям оперативного знакомства широкой общественности с жизнью народов и стран Юго-Восточной Европы служит ежемесячный бюллетень «Научная служба ЮВЕ» (в каждом его выпуске — 28—32 с.). Как полагает его отв. редактор (Г. Хартль), бюллетень дает объективную картину политической, культурной, хозяйственной жизни этого региона. Проблемам современной жизни региона посвящена серия «Исследования по современности ЮВЕ» («Untersuchungen zur Gegenwartskunde SO-Europas»). Это, как правило, среднего объема книжки (только в последние годы стали появляться солидные тома по 500 с.), по цене (10—20 марок) вполне доступной рядовому читателю. Например, в 70-е годы были изданы: «Политика развития в Югославии. Ее установки, планирование и результаты», «Партии и литература в Румынии», «„Единые“ и „независимые“ Балканы» и др.

Институт по праву считает своей заслугой регулярную публикацию монографий обширного круга германских и зарубежных ученых в продолжающейся серии «ЮВЕ-Труды», за послевоенные годы в свет вышло 48 томов. Значительная их часть (15 из 48) посвящена новой и новейшей истории, в то время как по средневековью вышло только 7 работ. Серия носит преимущественно исторический характер — литературоведению и фольклору посвящены только две монографии. В серии представлены труды широко известных исследователей, например, Ф. Бабингера по османистике, И. Караянопулоса по византиноведению, К. Неринга по унгаристике, посмертно изданы труды Ф. Валявеца. Однако главное внимание сотрудников Института в 70—80-е годы было приковано к двум масштабным и новым проектам: подготовке «Биографического лексикона по истории ЮВЕ» [1] и «Исторической библиографии ЮВЕ» [2].

«Биографический лексикон» представляет собой четырехтомник общим объемом более 2 тыс. страниц, вышедший, как и все публикации Института, в издательстве Ольденбург в 1972—1981 гг. В советской науке это издание может быть сопоставлено лишь с биобиблиографическим словарем «Славяноведение в дореволюционной России» (1979), своего рода образцом для изданий подобного рода. Но между ними есть и ряд отличий. Так, отбор персоналий для включения в «Лексикон» носил не только историографический, но и реально-исторический характер. В него вошли биографии не только исследователей, но и всех деятелей, сыгравших сколько-нибудь значительную роль в истории стран этого региона (например, все русские императоры). Хронологический диапазон очень широкий — от хана Аспаруха до экс-императрицы Зиты Габсбург, еще здравствовавшей в годы составления «Лексикона». Каждая статья зани-

мает в среднем 1—2 страницы, в ней непременно присутствуют сведения о происхождении, даты рождения и смерти. Правда, в библиографической справке, завершающей статью, отсутствуют сведения об архивах и нет указаний на собственные сочинения деятеля. И тем не менее тщательность, с которой составлена каждая биографическая статья, оставляет чувство глубокого удовлетворения.

В ином ключе выполнена вторая публикация, «Историческая библиография». Ее подготовке в значительной степени способствовал выпуск в свет, начиная с 1959 г., справочников по библиографии ЮВЕ, которые готовил Институт (SOE-Bibliographie). И тем не менее задача, которую перед собой поставили составители «Библиографии», была неслыханной сложности — следовало учесть всю вышедшую с начала XIX в. и до наших дней литературу по истории региона, начиная с VI в. При этом учитывалась история не только балканских стран и народов, но и тех держав, в состав которых они были включены, — Византийской, Османской и Австрийской империй. Это создавало особые трудности для отбора литературы. Весьма усложненной оказалась и структура издания.

Очень объемистые тома (например, в т. I, ч. 2 около 1700 с.) разделены прежде всего по странам, далее материал располагается внутри основных разделов: «Общее», «Общая и политическая история», «Государственно-правовая и административная история», «Хозяйственная и социальная история», «История церкви», «Культурная история». В свою очередь каждый крупный раздел распадается на немалое число подразделов. Например, в «Экономико-социальной истории» их 11, причем существование некоторых подразделов представляется не совсем оправданным (неясно, чем вызвано появление подраздела «Представления», например, об отдельных местностях и городах, о социальных слоях и проч. В раздел о Сербии, в частности, в «Представления», а не в конкретно-исторический попали вполне конкретные исследования С. Новаковича, Г. Острогорского, Д. Боянич о прони, прониарах и баштинниках, о налогах. Такая структура, по моему мнению, затрудняет работу читателя).

Зато аннотации, как представляется, являются очень сильной стороной издания. Уже самое появление в публикации, состоящей из тысяч названий, текста, сообщающего конкретную информацию, придает работе с книгой особую заинтересованность и увлеченность. Тем более, что аннотации составлены очень квалифицированно, они обстоятельны (иногда до 20 строк), содержательны, наполнены сведениями и о предмете, и о его разработке в науке и корректно отсылают читателя к литературе, именуемой составителями «вторичной» (рецензии, обзоры, переводы, репринт и проч.). Подобные развернутые аннотации соответствуют такому положению в науке, когда в накопившейся специальной литературе невозможно разобраться без справочника. Этим справочником, по замыслу составителей, и должна была явиться «Библиография».

С удовлетворением отмечу, что составители учли и обширную русскоязычную литературу — дореволюционную и советскую. В этом отношении к рецензируемому изданию нельзя предъявить упреков, которые мы в былые времена адресовали многим зарубежным изданиям. Однако учет наших изданий в «Библиографии» далек от полноты. Составители повсеместно ограничиваются литературой, изданной в Москве, не учитывая работ, появившихся на периферии, причем не только отдельных монографий, но и продолжающихся на протяжении нескольких десятилетий широко известных серий, как, например, свердловский сборник «Античная древность и средние века» или воронежские «Вопросы истории славян». Трудно судить о том, какими будут дополнения к «Библиографии», последний том которой вышел в 1988 г., и издание еще не завершено. Но, как представляется, имело бы смысл оговорить существование пропущенных публикаций.

Обобщая сказанное, мы вправе сказать, что многолетний труд мюнхенских балканистов дал прекрасные результаты — создан справочник самого высокого научного уровня. Возможность судить об издании в целом появится, когда работа над последним томом «Библиографии» завер-

шится. Конечно, со временем возникнет необходимость дополнений и изменений, но уже сейчас видно, с каким размахом, обстоятельностью и научной добросовестностью подготовлены и «Библиографический лексикон» и «Историческая библиография».

Несколько лет назад во вступлении к брошюре о деятельности Института в 1930—1980 годах, его директор М. Бернат писал, что Институт уделяет самое серьезное внимание контактам с зарубежными балканистическими центрами. В наши дни для этих контактов открываются самые благоприятные перспективы. В их ряду знакомство с изданиями, подобными тем, о которых здесь шла речь, должно сыграть особую роль.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Biographisches Lexikon zur Geschichte Südosteuropas. Hg. von Mathias Bernath, Felix von Schroeder und Karl Nehring. Red. G. Bartl. Bd. I, 1972; II, 1976; III, 1979; IV, 1981.— SOA, Bd. 75/I—IV. München.
2. Historisches Bücherkunde Südosteuropas. Hg. von Mathias Bernath. Red. G. Kralert. Bd. I, T. 1, 1978; I, T. 2, 1980; II, T. 1, 1988.— SOA, Bd. 76/I—III.

КНИЖНАЯ ПОЛКА СЛАВИСТА

Академик Василий Михайлович Истрин: Тез. докл. обл. науч. чтений, посвящ. 125-летию со дня рождения ученого-филолога 11—12 апр. 1990 г.; Одес. гос. ун-т им. И. И. Мечникова. 1990, 109 с.

Актуальные задачи изучения истории Польши, российско-польских и советско-польских отношений: Экспресс-информ. о Всесоюз. совещании 1989 г. Калинин, 1989, 36 с.

Априлска литературна дискуссия ... / Съюз на бълг. писатели. София, 1989.

Балканские чтения. I: Симпозиум по структуре текста. Тезисы и материалы. М., 1990, 156 с.

Боричев С. Възрожденски възгледи за ролята на науката в обществения прогрес. София, 1989, 144 с. Библиогр.

Брониславский Е., Вачнадзе Г. Польский диалог: События в Польше глазами пол., сов., амер., англ., западногерм. и фр. журналистов. Тбилиси, 1990, 640 с., 12 л. ил.

Вендина Т. И. Дифференциация славянских языков по данным словообразования. М., 1990, 168 с. Библиогр.

Венедиктов Г. К. Болгарский литературный язык эпохи Возрождения. (Пробл. нормализации и выбора диалект. основы). М., 1990, 206 с., табл. Библиогр.

Вервес Г. Д. Як література самоутверджується у світі: Дослідження. Київ, 1990, 452 с.

Взаимообогащение литератур. (Соц. страны Европы). / Бернштейн И. А., Гусев Ю. П., Кожевников Ю. А. и др. М., 1990, 238 с. Библиогр.

Восприятие русской литературы за рубежом, XX век. / Отв. ред. Давилевский Р. Ю. Л., 1990, 255 с. Указ. имен.

Гаврилович С. Граѓа за историју војне границе у XVIII веку. Књ. I. Банска Крајина. 1690—1783. XII. Београд, 1989, 722 с. Указ.

Гандев Х. Българската народност през XV век: Демографско и етнографско изследване. София, 1989, 328 с. (Българско историческо наследство).

1939 год: Уроки истории. / Волков В. К., Илюхина Р. М., Кошкин А. А. и др. М., 1990, 509 с. Библиогр. Указ. имен. 1. Волков В. К. и др. 2. Ржешевский О. А. 3. Институт всеобщей истории, Москва.

Голубовић В. Летопис културног живота, 1919—1925: «Време», «Политика», «Правда». Београд, 1989, 425 с.

Гунев Г., Илчев И. Уинстън Чърчил и Балканите. София, 1989, 276 с. Библиогр.

Друмев Д. А. Резбарско изкуство. София, 1989, 512 с., ил. Иван Франко і світова культура. Матеріали міжнар. симпозіуму ЮНЕСКО (Львів, 11—15 верес. 1980 р.) Київ, 1990.

50 лет исторической славистики в Московском государственном университете. Сб. ст. М., 1989, 179 с.

Нагиев Д. Азербайджанско-югославские литературные взаимосвязи и взаимоотношения. (Фольклор и клас. лит.). Автореф. дис. на соискание уч. степени д-ра филол. наук. Баку, 1989, 33 с.

Ничев Б. Вапцаров или нашият поетичен диалог със света. София, 1989, 288 с.

Международные отношения на Балканах, 1830—1856 гг. М., 1990, 344 с.

Никольский С. В. Карел Чапек. (100 лет со дня рождения). М., 1990, 64 с., ил.



ОБЗОРЫ И РЕЦЕНЗИИ

Е. В. ЧИСТЯКОВА. Михаил Николаевич Тихомиров (1893—1965). М., 1987, 159 с.

Издательство «Наука» в серии «Научные биографии» опубликовало работу о жизни и деятельности выдающегося советского историка академика М. Н. Тихомирова. Книга написана одним из близких его учеников — профессором Е. В. Чистяковой, которая работала под руководством ученого около двадцати пяти лет. Поэтому читатель находит здесь не только подробный разбор научных заслуг М. Н. Тихомирова, но и волнующий рассказ о нем как о человеке.

Многочастичная монография состоит из отдельных очерков. В первом из них читатель знакомится с основными вехами жизни М. Н. Тихомирова: обучение в Петербургском коммерческом училище (1903—1911); занятия на историко-филологическом факультете Московского университета (1912—1917); активная деятельность на ниве народного просвещения (20-е годы); в 30-е годы все более интенсивное включение как в собственно исследовательскую работу (рукописный отдел ГИМ, Институт истории АН СССР), так и в педагогическую (преподавание в ИФЛИ, на историческом факультете МГУ), получение степени кандидата исторических наук (1935), защита докторской диссертации (1939), избрание членом-корреспондентом (1946), а затем и действительным членом АН СССР (1953). Автор не просто перечисляет эти факты биографии Тихомирова, но приводит интересные подробности, раскрывающие характер его взаимоотношений с коллегами и учениками. В результате перед читателем возникает образ не только большого ученого, но и сердечного, доброго (в то же время строгого и требовательного) человека, внимательного к товарищам по работе, готового оказать помощь своим ученикам.

Проблемам источниковедения и специальных исторических дисциплин в научном творчестве Тихомирова посвящен второй очерк книги. Как верно подчеркивает ученый, фундаментом любого исто-

рического исследования должно быть изучение всего комплекса источников, внимательный анализ уже известных науке памятников, привлечение при возможности новых документов, способных расширить и углубить наши представления о том или ином событии, процессе и т. д. (с. 37—38). В сущности, такой подход к изучению исторических источников определял работу кафедры источниковедения исторического факультета МГУ, созданной по инициативе Тихомирова в 1953 г. Он создал специальный учебник по этой важной исторической дисциплине «Источниковедение истории СССР», выдержавший два издания (1940, 1962); проводил систематические обследования различных архивохранилищ и прежде всего ценнейших архивных материалов из рукописного отдела ГИМ. По инициативе Михаила Николаевича начались поиски памятников древнерусской литературы как в архивных учреждениях страны, так и у частных лиц. Но, может быть, самым ярким проявлением заботы Тихомирова о сохранении древнерусских рукописей, старопечатных книг оказалось собирание им самим памятников такого рода и передача их на хранение в библиотеку Сибирского отделения АН СССР в Новосибирске.

В исследованиях, документальных публикациях, в курсах палеографии М. Н. Тихомиров не ограничивался изучением одних только древнерусских памятников по истории России; он широко использовал украинские, белорусские, литовские материалы, интересовался документальной базой истории Закавказья и Средней Азии; постоянно обращался к западным и южнославянским источникам, находя в них нужные ему параллели и связи с историческими судьбами восточнославянских памятников.

Третий очерк посвящен историографическим исследованиям М. Н. Тихомирова, его трудам по истории исторической

науки. Здесь вслед за автором можно фиксировать четыре направления. Первое связано с изучением летописной традиции XI—XVIII вв., второе — с анализом работ В. И. Татищева и М. В. Ломоносова, третье — с переизданием сочинений В. О. Ключевского, четвертое — с откликами на труды его современников, а также организацию издания «Очерков истории исторической науки в СССР».

В творческой деятельности М. Н. Тихомирова особое место занимали работы по истории русских земель в X—XIII вв.; его внимание здесь было приковано к трем комплексам проблем — развитие феодальных отношений; исторические судьбы древнерусского города; классовая борьба в феодализирующемся обществе Древней Руси. Раскрытию этой тематики в работах Тихомирова посвящен четвертый очерк книги.

В пятом очерке рассматривается весьма важный цикл работ М. Н. Тихомирова, связанных с изучением истории средневековой Москвы, с исследованием процесса становления Русского централизованного государства (Тихомиров называл его также Российским государством).

Последний, шестой, очерк раскрывает заслуги М. Н. Тихомирова в изучении русской культуры феодального периода, в частности в разработке проблем истории книгопечатания в России. И в этой области Тихомиров сказал весомое слово, предложил много нового в трактовке данного круга проблем, выявил и обосновал практику недатированных изданий в начале 60-х годов XVI в., вскрыл исторические предпосылки появления в Москве типографии Ивана Федорова, сделал попытку объяснить причины его переезда из Москвы в Зблудово к магнату П. А. Ходкевичу, а потом и во Львов, показал место и роль книгопечатания в России, Белоруссии и на Украине. Ему принадлежат важные наблюдения над биографией Ивана Федорова. Оказалось, что Иван Федоров не был только духовным лицом, как, например, Максим Грек или Арсений Елассонский; он выполнял весьма важные функции «мирского» характера: работал не только книгопечатником, но

и управляющим магнатских имений, был недоженным инженером, способным даже лить пушки.

Подводя итоги, можно сказать, что Е. В. Чистяковой вполне удалось раскрыть в строго научной и вместе с тем доступной для широкого читателя форме главные этапы жизненного и творческого пути академика М. Н. Тихомирова.

Вместе с тем, поскольку серия ограничена листажом, некоторые важные проблемы отражены в книге недостаточно. Прежде всего это касается славяноведения и востоковедения, хотя бы в рамках связей России. Это тем более досадно, что автор опубликовала значительное число работ по указанным темам [1]. Вместе с Б. Д. Грековым, В. И. Пичетой, Эд. Неудлы Тихомиров стоял у истоков славяноведения в советское время, принял деятельное участие в организации Института славяноведения, где работал в последние десять лет жизни, входил в состав редколлегии журнала «Советское славяноведение», одно время заменял зав. кафедрой истории славян в МГУ.

Греков И. Б.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Чистякова Е. В. Труды акад. М. Н. Тихомирова по славяноведению.— В кн.: Узловые вопросы советского славяноведения: Тезисы докладов и сообщений IX Всесоюзной научной конференции историков-славистов. Ужгород, 1982; Чистякова Е. В. Памятники письменности Армении в научном творчестве акад. М. Н. Тихомирова.— Советские архивы, 1983, № 6; Чистякова Е. В. М. Н. Тихомиров и Армения (по материалам переписки с Л. С. Хачикяном).— В кн.: Археографический ежегодник за 1983 г., М., 1985; Чистякова Е. В. Публикации акад. М. Н. Тихомирова по проблемам славяноведения.— В кн.: Историографический сборник. Межвузовский науч. сб. Вып. 13. Некоторые вопросы истории исторической науки. Саратов, 1987; Чистякова Е. В. Связи Руси с зарубежными славянами в работах акад. М. Н. Тихомирова.— В кн.: 50 лет исторической славистики в Московском государственном университете. М., 1989.

М. Булајић. Ustaški zločini genocida i suđenje Andriji Artukoviću 1986 godine. Т. I — II. Београд, 1988. Т. I — 891 с., т. II — 953 с.

М. Булаич. Преступления геноцида, совершенные усташами, и процесс над Андреем Артуковичем 1986 г. Т. I — II

Двухтомное сочинение известного ученого и дипломата д-ра Милана Булаича посвящено теме фашистского геноцида в Югославии в годы второй мировой войны. Подобного глубокого исследования проблем геноцида на материалах оккупационного режима в Югославии еще не предпринималось.

Д-р Булаич в годы войны сам был очевидцем преступлений хорватских фашистов — усташей в оккупированной Югославии. В 1941 г., в 13 лет., он вступил в ряды народных борцов, прошел с ними боевой путь, освобождая родину от фашистских захватчиков и их сателлитов. По окончании войны автор почти 40 лет находился на дипломатической работе за рубежом, являлся постоянным представителем СФРЮ в ООН. В 1975 г. во время своего пребывания в США стал жертвой покушения на него усташей, обосновавшихся после войны за пределами Югославии. Однако это не поколебало активной жизненной позиции ученого. Он продолжает активно выступать на процессах над усташами в разных странах, разоблачая их антинародную, предательскую позицию.

В настоящее время, когда развитие исторической мысли нередко приводит к обновлению и даже пересмотру как в советской, так и в зарубежной историографии, казалось бы, давно устоявшихся и незыблемых концепций, чрезвычайно важен анализ документальной базы создаваемых трудов. Источниковая база сочинения М. Булаича чрезвычайно богата. Значительная часть документов практически впервые увидела свет. Поражает их поистине скрупулезный анализ, сопоставление разных документальных свидетельств. Автор использует разнообразные источники, обнаруженные им в разных архивах СФРЮ, а также в фундаментальных хранилищах международного значения в США и других странах, в том числе документы немецкого трофейного архива, а также американской разведки.

В центре внимания М. Булаича — с одной стороны, проблема геноцида, с другой — определение ответственности тех или иных лиц за его осуществление в Югославии, где, как известно, оккупа-

ционный режим отличался особой жестокостью главным образом в отношении сербского населения. Проблематика геноцида рассматривается автором как бы через призму «югославского Нюрнберга» — судебного процесса, проводившегося в 1986 г. в Загребе над усташским преступником, «балканским Гиммлером» А. Артуковичем.

С юридической точностью, строго хроникально автор приводит неопровержимые факты уничтожения в годы войны в так называемом «Независимом государстве Хорватия» сербов, евреев, цыган, многих других этнических групп, людей разного вероисповедания. Он документально обосновывает ответственность за эти злодеяния главарей усташей и среди них Артуковича, являвшегося «интеллектуальным вождем», одним из организаторов марионеточного государства, где в течение всей войны он занимал ключевые посты — министра внутренних дел, правосудия и богословия, хранителя Государственной печати и председателя Государственного веча НДХ. В труде приведены неопровержимые доказательства виновности Артуковича. М. Булаич не скрывает недостатков процесса, организованного в Загребе. Он полагает, что по ряду причин, как процессуального характера ведения суда, так и из-за националистических настроений ряда деятелей в современной Хорватии, имевших отношение к процессу, обвинения Артуковичу были предъявлены далеко не в полной мере. Более того, он обращает внимание на такое негативное явление, как деятельность в СФРЮ в настоящее время защитников усташского геноцида, солидаризирующихся с лозунгами неусташских террористических организаций. Поэтому изучение преступлений геноцида приобретает особую остроту и актуальность.

Одна из важных проблем в книге — анализ деятельности в годы второй мировой войны хорватской церкви, ее связей с Ватиканом. На основе тщательного, скрупулезного научного анализа целого комплекса документов автор делает обоснованный вывод: усташей породил клерикализм. М. Булаич представил убе-

дательные доказательства того, как за-гребский епископ Алоиз Степинац еще в начале марта 1941 г., до оккупации Югославии, был ознакомлен с планами уничтожения Югославии как самостоятельного государства, о чем по возвращении из Рима в Загреб сообщил лидеру хорватской Крестьянской партии доктору В. Мачеку.

Одно из центральных мест в работе Булаича занимает рассказ о наиболее крупном и самом жестоком по режиму концлагере Ясеновац, ставшим трагическим символом уничтожения народов Югославии. Автор приводит материал о невероятных зверствах в этом лагере, о расправах над жертвами самыми изощренными садистскими способами.

Заслуживает уважения позиция автора в отношении пленных в годы войны. М. Булаич приводит мысль о том, что погибшие в Ясеноваце являются составной частью фронта народно-освободительной борьбы в Югославии против фашистских оккупантов.

В своем исследовании М. Булаич не обходит острые проблемы, в частности, почему командование НОАЮ не поставило задачу по уничтожению этого лагеря и освобождению узников. В книге отмечается, что И. Броз Тито ставил этот вопрос, однако, его требовалось решать с Народно-освободительной армией, партизан-

скими отрядами и руководством компартии Хорватия. Такой договоренности из-за националистических сепаратистских разногласий не было достигнуто. И лагерь Ясеновац продолжал существовать вплоть до 1944 г.

Значительную часть издания составляют публикации документов, непровержимо свидетельствующих о проводившемся геноциде. Автор преднамеренно в центр внимания ставит аналитическое рассмотрение источников, которые, как он считает, говорят сами за себя. Сбор и публикация документов о преступлениях усташей в совершении геноцида — один из важных вопросов югославской историографии, — отмечает д-р Булаич. Причем сбор подобного рода документов чрезвычайно затруднен, так как многие свидетельства были уничтожены усташами, особенно в период краха НДХ, когда фашисты заматали следы своих преступлений.

Особенно впечатляет огромная работа, проделанная автором по составлению мартирологов по отдельным районам, населенным пунктам и т. д. В них навечно запечатлены тысячи имен жертв геноцида, среди которых огромное число детей, также уничтоженных усташами.

Бушчева Т. С.

Поэтика српске књижевности. Београд, 1988, 307 с.

Поэтика сербской литературы.

С 1986 г. в белградском Институте литературы и искусства ведутся исследования по имманентной поэтике сербской литературы. Рецензируемый сборник статей, среди авторов которого как известные специалисты, так и начинающие ученые, — первый труд из предполагающейся серии.

Статья редактора сборника Н. Петковича посвящена важнейшему при изучении поэтики вопросу — исследованию критериев анализа поэтики произведений литературы, ее предмета и задач. Автор указывает, что термин «поэтика» приобрел множество значений: под поэтикой понимается исследование поэзии, поэтического творчества, совокупность художественных приемов какого-либо литературного направления, система отличительных черт определенной национальной литературы; существует также термин

«поэтика мифа» и т. д. Поскольку поэтика стала означать и научную дисциплину и ее предмет, возникает необходимость различения поэтики как таковой (теоретическая поэтика) и имманентной, или имплицитной поэтики, которая остается предметом исследования в художественном тексте. Следует также отделять эксплицитную поэтику писателя от его имплицитной поэтики. Период интереса к имплицитной поэтике начинается с авангардных течений в искусстве, с их подчеркнутым стремлением создать собственную, особую поэтику. Возникший интерес к технической стороне творчества в начале XX в. утверждает теорию литературы как науку описания литературной техники. Художественный текст изучается главным образом с точки зрения его оригинальности и ценности, рассматривается исключительно как предмет искусст-

ва. Такой подход оправдан для произведений современной эпохи, однако при попытке такого анализа произведений других исторических эпох возникают сложности. Поэтому наиболее методически удобным определением предмета исследований поэтики можно считать единство всех опознаваемых, поддающихся выделению средств и методов, с помощью которых текст организован как литературный, художественный. Простое фиксирование, описание всех формально-выразительных средств, которыми располагал автор художественного текста, может служить стимулом к дальнейшему изучению творчества писателя или аргументацией выводов исследователя. Проблема изучения поэтики национальной литературы довольно сложна. Так, сербскую литературу составляют устная, древняя (связанная со средневековой моделью культуры) и новая литературы, столь различные между собой, что к ним вряд ли применимо одно и то же определение художественного текста. Важно также и то обстоятельство, что литература, будучи формой коммуникации, связанной с соответствующей моделью культуры, определяет и читательскую, и авторскую позиции, функционально интегрированные в художественный текст.

В. Жмегач в статье о значении, проблемах, методах и границах исследования имманентной поэтики с точки зрения исторического развития литературы определяет поэтику как системное исследование логических и стилистических особенностей художественного творчества. В качестве имманентной поэтики автор рассматривает все метатекстуальные явления, анализируя их в европейском романе различных периодов в трех аспектах — с точки зрения читателя, автора и литературного произведения. Общее для всех трех точек зрения — это литературно-историческая концепция; таким образом имманентная поэтика предлагает наличие исторической метапоэтики. Метатекстуальные сообщения (имманентные поэтологиемы) создают тексты различных видов, их систематизацию можно осуществить на основе общественно-исторической обусловленности арсенала поэтических средств, затем понимания поэтики, выраженного непосредственно в тексте и; наконец, функции произведения в определенном культурном контексте. Точка конвергенции всех этих критериев лежит в исторической метапоэтике имманентной поэтики.

Известный литературовед И. Деретич, автор «Истории сербской литературы», рассматривает в своей статье возможности изучения поэтики национальной литературы как единого целого. Искусство, являясь универсальным феноменом, характеризуется единством своей истории, а национальная специфика или особенности цивилизации имеют ограниченную важность. В истории искусства известны определенные типы (например, египетское или византийское искусство), созревшие в специфических исторических обстоятельствах, однако автономность этих культур не национальный, а исторический феномен, поэтому можно выделить тип культуры итальянского ренессанса, но не тип итальянской культуры вообще. Европейское искусство предстает не как национальное явление, а как феномен цивилизации. Национальная индивидуальность выделяется на общем фоне только если она опережает время. Иное дело литература: если искусство едино, то литературы множественны; достаточно сравнить понятия «византийская культура» и «византийская литература» — первое является понятием цивилизации, а второе подразумевает узко национальное явление. История литературы — это прежде всего история какой-либо национальной литературы, объединенной с другими национальными литературами родством языков, региональной близостью, общностью цивилизации. Проблема выделения одной национальной литературы из ряда других, определения ее автономного статуса как предмета научного исследования достаточно сложна. С конца XIX в. предпринимаются попытки определить как-либо национальную специфику литературы — с помощью одного понятия (например, Ф. Брюнетьер называл французскую литературу «социальной», английскую — «индивидуалистической», немецкую — «философической» и т. п.) или нескольких (так, Пидал и Алонсо видели своеобразие испанской литературы в традиционализме, склонности к фантастическому и чудесному, прагматизме и коллективном характере творчества). Недостаток такого подхода — в попытке охарактеризовать сущность национальной литературы, исходя из особенностей национального характера, причем каждое из таких взятых статичными свойств довольно общо и не специфично само по себе. Во избежание ошибок желательно опираться на другие научные дисциплины, в первую очередь, поэтику, определяющую стабильное единство и прочные

связи литературных явлений вне зависимости от их временной удаленности. Именно так описывают отдельно взятую литературу Д. Лихачев в «Поэтике древнерусской литературы» и С. Аверинцев в «Поэтике ранневизантийской литературы», Д. Богданович в «Истории древней сербской литературы» и Дж. Трифунович в книге «Древнесербская литература: основы». Можно сказать, что поэтика национальной литературы по отношению к ее истории представляет собой как бы исследование в квадрате. Она исходит и из эмпирических фактов о существовании данной литературы в веках, и из тех проблем, с которыми она сталкивалась; ставит вопрос о существовании национальной литературной системы или тенденции к системе. Исследования национальной поэтики проходят три стадии: изучения постоянных особенностей данной литературы в творчестве различных писателей, определения ее доминантных, вневременных свойств; установления статуса черт общности, места национального между историческим и литературно-художественным; определения научного статуса этих исследований, той внутренней системы, которую и называют поэтикой. Возможность существования поэтики национальной литературы подкрепляется и наличием национальной традиции в литературе, придающей ей внутреннее единство.

Среди исследований по поэтике отдельных жанров, периодов истории сербской литературы и некоторых писателей статья известного критика и литературоведа П. Палавстры «О некоторых особенностях поэтики „золотого века“ сербской лите-

ратуры» посвящена особенностям тематики и проблематики литературы периода 1892—1918 гг., определившим ее своеобразный характер. Ј. Еремич в исследовании «Изучение сербского романа с точки зрения поэтики жанра» указывает, что роман до сих пор изучался в пределах творчества одного писателя или одного периода, хотя развитие сербского романа — слабого в художественном отношении в XIX в. и достигающего расцвета в 50-е годы XX в. — дает интересный материал для изучения его поэтики. Поэтику сербской поэзии рубежа XIX—XX вв. исследует Д. Витошевич; поэтику малых поэтических форм сербской литературы — Н. Грдинич. Д. Иванич в статье «К проблеме поэтики прозы в эпоху реализма» рассматривает реализм как единую художественную школу и определяет черты структуры художественного текста на различных стадиях развития реализма в мировой и в сербской литературе.

Рецензируемый сборник статей по поэтике литературы получился содержательным и проблемным. Особый интерес представляет первый, теоретический раздел, освещающий недостаточно изученные вопросы определения сущности поэтики, всех ее разновидностей, содержащий размышления ведущих сербских литературоведов о возможностях и перспективах изучения специфической поэтики национальных литератур. Вторая, практическая, часть сборника получилась более традиционной, но не менее интересной, освещающей некоторые важнейшие проблемы поэтики жанров и отдельных авторов.

Степанова Е.

Е. ЛОТКО. Čeština a polština v překladatelské a tlumočnické praxi. Ostrava, 1986, 215 s.

Э. ЛОТКО. Чешский и польский языки в практике письменного и устного перевода.

Э. Лотко предлагает читателю сопоставление двух действующих языковых систем, близких в силу родства и в то же время — контрастных в силу общественно-исторических условий развития народов и их языков. Именно эта диалектика сходства-контраста и составляет главную «интригу» рецензируемой книги. Богатый фактический материал, типологиче-

ский ракурс его интерпретации, стремление к выявлению системных различий выводят эту работу, вопреки названию, за рамки теории и методики перевода.

В целом небольшая по объему (215 с., включая послесловие, написанное М. Комареком), книга состоит из пяти глав. В первой главе обсуждаются общие проблемы литературных языков,

а именно — проблемы нормы, кодификации, языковой культуры и правильности.

Вторая глава, представляя собой краткий сопоставительный очерк, высвечивает основные особенности соотношения двух языков. Безусловным достоинством этой главы, как, впрочем, и всей книги, является рассмотрение языковых систем в неразрывной связи с «языковой личностью», т. е. с предпочтениями и вкусами носителей языка при выборе языковых средств. При этом, как отмечает Э. Лотко, проблему выбора помогает разрешать сам языковый тип (s. 38), понимаемый автором довольно широко — скорее как структурно-функциональная индивидуальность отдельно взятого языка.

В разделах, посвященных стилистическому и диалектному членению чешского и польского языков, Э. Лотко предпринимает в целом удачную попытку сжато описать самые существенные различия в упомянутых областях.

В подразделе «Стратификация (rozróżněnost) чешского и польского языков» весьма значимо упоминание о таком специфическом страте чешского языка, как так называемая обиходно-разговорная

речь (obecná čeština), о неоднозначном отношении к ней в чешской языковой среде и художественной литературе. В соответствии с направленностью всего труда, Э. Лотко приводит примеры различных способов передачи нелитературной польской речи на чешский язык. Исследователь уделяет внимание и городской речи на территории распространения чешского и польского языков с ценными bibliографическими ссылками и важным замечанием о различном месте социолектов в языке современной чешской и польской литературы. Завершает главу наглядный анализ переводческих ошибок и неудач в самой сложной области художественного перевода — переводосоздании стиля оригинала.

Третья глава посвящена различиям в способах номинации. Здесь обращается внимание на большую частотность расчлененных комплексных номинативных единиц в польском языке, которая обнаруживается из сопоставления самых разных структурных единиц. Эта закономерность ярко прослеживается, по наблюдениям Э. Лотко, из сопоставления технической терминологии обоих языков:

чешский	польский
mokrą analýza dlouhodobá pevnost frikční pila	analiza metodą mokrą wytrzymałość na obciążenie długotrwałe ściernica tarczowa do cięcia.

Такая же закономерность проявляется при сопоставлении глагольного фонда обоих языков, где польский язык, согласно Э. Лотко, значительно шире использует аналитические глагольно-именные конструкции типа *dokonać zabójstwo*, *zgłaszać protest*, *dokonać wypłatę*: им в чешском тексте обычно соответствует цельный полнозначный глагол (s. 64—65). Эта закономерность обнаруживается и в области наречий, и в области имен прилагательных (s. 65—67).

«Синтетический» характер номинации в чешском языке Э. Лотко объясняет высокой «степенью флективности» этого языка, а разнообразные элементы «анализма» в польском языке — со ссылкой на работы польских лингвистов — преимуществами расчлененных единиц для целей смысловой и категориальной конкретизации (s. 59—60). В объяснении этих чрезвычайно интересных наблюдений кроется, на наш взгляд, определенное противоречие, поскольку оба фактора —

степень флективности и семантико-категориальная определенность расчлененных номинаций не исключают друг друга, не пересекаются, а взаимодополняются, так как находятся на разных плоскостях системы: ведь и расчлененное наименование морфологически оформлено по законам флективного языкового типа.

Ценны наблюдения Э. Лотко над функционированием сложных слов и словосочетаний в обоих языках: и в этом отношении выявляется первенство польского языка, сильнее отклоняющегося от флективного типа.

Отдельный раздел третьей главы посвящен месту заимствований и иноязычных выражений в обеих системах. Из него следует, что чешский лексикон по этому параметру склонен к пуризму, в то время как польский значительно более свободно пользуется заимствованной и иноязычной лексикой, нередко образуя от иностранной основы разветвленное дерево дериватов. Шире распространены в поль-

ском языке и суффиксы, и префиксы иностранного происхождения. Такое соотношение, безусловно, связано не только с внутриязыковыми факторами, но и с историей формирования литературных языков: «пуризм» чешского языка — это своего рода реакция на угрозу онемечивания, спутник национального и языкового возрождения в первой половине XIX в. Правда, Э. Лотко не проводит экскурсов в историю литературных языков, что, вероятно, объясняется исходными установками автора — сопоставить *функционирующие* языковые системы с переводоведческой ориентацией. А с этой «синхронно-практической» точки зрения очень нагляден и информативен раздел о ложных друзьях переводчика на с. 83—95. Автор совершенно справедливо уделяет этой группе слов большое внимание, так как даже искусные переводчики испытывают трудности, которые заключаются не столько в межъязыковой «омонимии», сколько в межъязыковой «полисемии».

Вторая половина книги посвящена грамматическим вопросам сравнения языков с учетом переводческой проблематики. В четвертой главе «О словоформах в чешском и польском языках» автор пользуется термином «мера флективности» («степень флективности»). Более высокая «степень флективности» чешского языка, согласно Э. Лотко, проявляется в способности склоняться подавляющего большинства заимствованных имен собственных, в регулярности образования от них притяжательных прилагательных. В польском же языке несклоняемые существительные, как собственные, так и нарицательные, не представляют аномалии, что позволяет автору, со ссылкой на польского языковеда Г. Саткевич, говорить об «ослабленной флективности» польского языка. Существенные различия выявляются в способах контекстуальной конкретизации женского пола: в чешском языке регулярен и продуктивен суффиксальный способ, а польский прибегает к полуслужебным словам-спутникам.

Пятая глава посвящена различиям строения предложения в польском и чешском языках. Наиболее значимая типоло-

гическая констатация этой главы в том, что польское предложение по строению более «субстантивное», «именное», в то время как чешское — последовательно «глагольное». Речь идет прежде всего о способах выражения сказуемого и о пространственности номинализованных конструкций. В польском языке шире используются отглагольные существительные, устойчивые глагольно-именные сочетания, а также инфинитивные конструкции, причастия и деепричастия. В чешском тексте перечисленным структурам, как правило, соответствуют спрягаемые глагольные формы.

Характеризуя книгу в целом, отметим, что при всем разнообразии материала и широте параметров сопоставления она не имеет строго академического облика. Книга Э. Лотко содержит не бесстрастное «наложение» двух языковых систем, а их сопоставление, осуществленное лицом, говорящим на языке; автор обращает внимание читателя на те «узлы», где наиболее ярко проявляются различия двух систем.

Разумеется, книга не лишена недостатков. Чрезмерно прямолинейным представляется авторское стремление улавливать почти все типологические различия чешского и польского языков с «сильной флективностью» первого и «отклонениями от флективности» второго. Действительно, чешский явно тяготеет на уровнях морфологии и синтаксиса к гомогенности, а польский — к мозаичности, и это требует теоретического осмысления. Но понятия флективности, анализ все же требуют строгих предварительных дефиниций, следует учитывать и пестроту фактов, относимых к этим явлениям. Во второй главе наблюдается «перевес» в описании чешского языкового материала в ущерб польскому, что приводит к несопоставимости характеристик.

Эти замечания не перечеркивают главных достоинств работы.

Книга Э. Лотко будет интересна и переводчикам, и славистам различной квалификации — всем, чьи интересы выходят за пределы одного языка.

Стижко Л. В., Хайров Ш. В.

Краткий словарь словацкого языка

Выпущенный в свет издательством Словацкой академии наук «Веда» «Краткий словарь словацкого языка» (далее — КССЯ) является результатом многолетней творческой работы коллектива опытных лексикографов — сотрудников Института языкознания им. Л. Штура САН. Это важное и необходимое звено в серии основных трудов, изданных и подготавливаемых словацкими лингвистами, в которых дается научное освещение различных сторон и уровней словацкого языка, его истории и функционирования в современный период. Большое научно-теоретическое и практическое значение КССЯ определяется уже тем, что он представляет собой фактически *первый однотомный толковый словарь* в истории словацкой лексикографии. КССЯ заполняет существовавший до сих пор ощутимый пробел в компактном лексикографическом описании словарного состава современного литературного словацкого языка. История создания одноязычных словарей словацкого языка в схематическом виде может быть сведена к следующим основным этапам: начальный связан с изданием в 1931 г. «Словацкого фразеологического словаря» (*P. Tvrđý. Slovenský frazeologický slovník*), который к настоящему времени явно устарел и по методике составления, и по фактическому языковому материалу; в 1946 г. был опубликован первый том толкового словаря, в котором делалась серьезная попытка нормализации литературной лексики словацкого языка (*A. Jánošík, E. Jóna. Slovník spisovného jazyka slovenského*) (однако этот лексикографический труд не получил своего завершения); следующий этап относится к 1959—1968 гг., когда вышел в свет «Словарь словацкого языка» (далее — ССЯ) — фундаментальный толковый словарь тезаурусного типа (*Slovník slovenského jazyka. Ved. red. St. Peciár*). Несмотря на некоторые недостатки и методические просчеты, он сыграл важную роль в научной лексикографической обработке словарного состава словацкого языка. Но надо все же признать, что для массового читателя он малодоступен. Кроме того, словарь составлялся в 50-е годы, и в нем, что естественно, слабо отражена новейшая словацкая лексика. И вот, наконец, почти через 20 лет после

публикации последнего тома ССЯ, издан однотомный толковый словарь словацкого языка, острая необходимость в котором ощущалась уже давно.

Однотомный толковый словарь — специфический тип словаря, составление которого объективно связано с преодолением немалых трудностей. Одна из них заключается в том, что при заданном ограниченном объеме необходимо дать сжатую, но при этом многостороннюю характеристику основной части лексики литературного языка. Для этого требуется высокий профессионализм, умение творчески освоить накопленные современной одноязычной лексикографией теоретические знания, методические и технические принципы и приемы обработки и описания словарного материала. В этом отношении рецензируемый словарь, по нашему мнению, отвечает самым строгим требованиям.

КССЯ — нормативный словарь, что находит непосредственное отражение как в составе словника, так и в разработке словарных статей. КССЯ содержит примерно 50 000 слов (заглавных и производных, приводимых в гнездах). Это соответствует обычному среднему объему словника в словарях подобного типа. Так, в многократно переиздававшемся «Словаре русского языка» С. И. Ожегова около 57 000 слов, «Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost» (1978) включает около 50 000 слов. Уже сам тип словаря предполагает достаточно строгий отбор лексических единиц. В КССЯ включены наиболее употребительные слова, составляющие основной корпус литературной лексики, а также некоторые слова повседневного общения, находящиеся на периферии или даже за пределами литературной нормы словацкого языка. Значительную часть словника составляют широкоупотребительные термины различных областей науки, техники, культуры, общественно-политической деятельности. Понятно, что краткий толковый словарь в отношении полноты словника не может и не должен «тягаться» с толковыми словарями среднего и тем более тезаурусного типа. Большое достоинство КССЯ и в том, что в нем довольно богато представлена *новая* терминологическая и разговорная лексика: некоторые неологизмы

и неосемантимизмы, которые вошли в словацкий литературный язык за последние десятилетия, впервые получают лексикографическую обработку и обретают нормативный статус. Неплохо отражена в КССЯ и освоенная словацким языком лексика интернационального (международного) характера. Правда, в этом плане все же иногда возникает вопрос о правомерности включения в словник и некоторых других слов данного разряда (например, почему в словаре зафиксировано слово *biotechnológia*, но отсутствуют слова *bioinžinier*, *biomechanika*, *bionika*; или представлены *mikrobiológia*, *mikroelektronika*, но нет целого гнезда слов *mikrochirurg*, *mikrochirurgia*, *mikrochirurgický*; или, скажем, почему не отмечено такое популярное слово как *samořípancovanie* и т. п.). Ясно, однако, что при отборе слов авторы исходили не из субъективных позиций и мнений, а руководствовались научными критериями, опираясь в качестве основного источника на богатейший материал словарной картотеки Института языкознания им. Л. Штура САН (около 5 млн карточек) и учитывающая частоту употребления того или иного слова и широту сферы его использования.

Тщательно и детально проработана в КССЯ структура словарной статьи. Читатель получает разнообразную компактно поданную информацию о кодифицированной орфографической форме слова, в необходимых случаях и о его произношении, о смысловой структуре слова (для ее раскрытия используются различные приемы: краткая формула толкования, синонимы, антонимы, установление иерархии значений полисемантического слова, иллюстрации при помощи типичных словосочетаний и фразеологических оборотов и др.), об основных грамматических свойствах слова и его нормативно-стилистической оценке, у некоторых заимствованных слов указывается язык-источник. В целях экономии места широко используется гнездовое расположение материала, продуманная система разного рода сокращений и отсылок. Хотелось бы особо отметить серьезное внимание, которое уделяется выявлению и показу семантических и грамматических связей слова, его деривационных отношений. Это отвечает современным научным представлениям о том, что толковый словарь должен давать такую информацию о слове, которая позволяла бы судить о нем не как об изолированной лексической единице, а как о компоненте системы.

Несколько подробнее остановимся на том, как решается в КССЯ сложный и важный вопрос о нормативно-стилистической характеристике описываемых лексических единиц. Прежде всего в нем четко разграничиваются пласты литературной и нелитературной лексики. При этом слова и словосочетания, выходящие за рамки литературной нормы, в свою очередь дифференцируются на диалектные, сленговые и субстандартные (пометы *nár.*, *slang.*, *subšt.*). Следует подчеркнуть, что стилистический квалификатор *subšt.* впервые вводится в лексикографическую практику. С его помощью составители словаря стремятся вычленить своеобразный слой нелитературной лексики (например: *bacha «rozor»*, *bezvadný «krásny, skvelý, výborný»*, *fraj «vol'ny čas, vol'no»*, *chudokrvný «malokrvny, kojit' «dojčit'»*, *odflákat' «povrchne, zle urobiť»* и т. п.), которая нередко образует переходную зону между сленгом и разговорным стилем литературного языка.

В соответствии со значительной функционально-стилистической дифференциацией современного литературного словацкого языка в словаре дается богатая информация о стилистической оценке литературной лексики. Стилистически нейтральные (немаркированные) лексические единицы приводятся без каких-либо квалифицирующих помет. Стилистически маркированные слова получают разнообразную оценочную характеристику: по отношению к различным стилям и сферам преимущественного употребления, для чего используются соответствующие пометы *hovor.*, *kníž.*, *odb.* (научная и терминологическая лексика снабжается также пометами, обозначающими более узкую область знания и техники, например: *anat.*, *biol.*, *elektrotech.*, *filoz.*, *chim.* и др.), *publ.*, *admin.*, *poet.*, *bibl.*; по эмоционально-экспрессивной окраске (пометы *expr.*, *hypok.*, *fam.*, *rejour.*, *gon.* и др.); по признаку частоты употребления (помета *zried.*); по отражению исторической перспективы (пометы *arch.*, *histor.*, *zastar* и *zastaráv.*). В связи с последним аспектом отметим разграничение архаизмов и устаревших (устаревающих) слов (в лексикографической практике они нередко фактически отождествляются). Примечательно также стремление дифференцировать слова устаревшие (*zastar.*), например: *árešť «váženie, žalár»*, *ferul'a «palica, prút (na trestanie)»* и устаревающие (*zastaráv.*), например: *belčov «drevená kolíska»*, *chyža «1. izba, 2. chatrč, domček»*, что позволяет уловить

определенную динамику словарного состава. Естественно, что у многих слов стилистические пометы могут выступать в различных комбинациях. Следует подчеркнуть, что система стилистических помет, принятая в КССЯ, по ряду параметров отличается от той системы, которая использовалась в ССЯ. Тем не менее многие слова имеют в обоих словарях совпадающие пометы, что вполне естественно. Наряду с этим обнаруживается немало различий в стилистической квалификации одних и тех же слов в ССЯ и КССЯ. Приведем лишь несколько примеров несоответствия стилистических помет в ССЯ и КССЯ: *baštrngovať* — *nár. expr. / hovor. expr.*; *bázeň* — *bás. / kniž.*; *delegačka* — *admin. slang. / hovor.*; *hlavičkovat'* — *šport. slang. / hovor.*; *svojet'* — *expr. / kniž.*; *žizeň* — *kniž. / arch.* Помимо прочего подобные расхождения отражают объективные нормативно-стилистические сдвиги и модификации в словацкой лексике за последние десятилетия.

При внимательном чтении словаря можно обнаружить ряд спорных моментов и неточностей. Так, в отдельных словарных статьях значение слова раскрывается при помощи синонима, а этот синоним в свою очередь не получает толкования и объясняется тем же исходным словом. Иначе говоря, мы имеем дело со своеобразным «круговым определением», например: *naprasovať* 'sa объясняется через *parobit'* 'sa (v ýzn. 1), в то время, как для раскрытия значения глагола *parobit'* 'sa приводится глагол *naprasovať* 'sa. Конечно, в подобных случаях глагол, при помощи которого раскрывается значение заглавного слова, должен иметь толкование (как, например, в случае с глаголом *navraviet'* 'sa, когда приводимые при нем синонимы *parozprávát'* 'sa и *nahovorít'* 'sa получают самостоятельные формулы толкования). Как правило, существительные с суффиксом *-ost* указываются в составе соответствующего гнезда, ср.: *iniciatíva, -ny, -ost', konkrétny, -ost'* и т. п. Иногда же указание на возможность подобного образования почему-то отсутствует, например, в статье *mobilný* не отмечено производное *mobilnosť*, а в статье *unikát* не зафиксировано про-

изводное *unikátnosť*. Слово *brokovnica* толкуется как «*puška na brokové náboje*», а прилагательное *brokový* не приводится ни в самостоятельной статье, ни в статье со словом *brok*. Следовало бы более последовательно использовать единую формулу толкования значения у однотипных производных слов. В частности, это относится к деадъективным глаголам несов. вида с формантом *-iet'*, имеющим значение «становления или нарастания признака». Они обычно толкуются по формуле «становится каким», ср.: *bútl'aviet'* «*stávat'* sa *bútl'avým*», *červeniet'* «*stávat'* sa *červeným*», *dražiet'* «*stávat'* sa *drahším, drahým*» и др. Встречаются, однако, отступления от этой формулы, ср.: *machnátiet'* «*obratat'* *machom*», *práchniviet'* «*rozpadat'* sa *pôsobením sucha a vzduchu*», что вряд ли оправданно. В толковании первого значения слова *filológia* «*veda o národných jazykoch a literatúrach*» представляется избыточным определение *národný*. Наконец, два замечания технического характера. Иногда в словаре обнаруживается нарушение алфавитного порядка статей, например: *emocionalita* дается после *emocionálny*, прилагательное *sadzbový* оказалось после слов *sadziareň, sádzka, sadzobník*. Изредка встречаются опечатки (на с. 149 «*kto jazdí na karavane*» в слове *karavan* пропущена первая буква *a*, на с. 31 видимо ошибочно дается *sáček*, поскольку в соответствующей словарной статье представлены варианты формы *sáčik, sáčok*).

Подводя общий итог, можно сказать, что рецензируемый словарь представляет собой ценный лексикографический труд, выполненный на современном научном уровне. Выход в свет этого нормативного словаря является не только важным этапом в развитии словацкой лексикографии, но и заметным событием в общественно-культурной жизни Словакии. Полагаем, что КССЯ будет важным настольным справочником для пользующихся словацким языком и для тех, кто проявляет к нему глубокий интерес как к объекту практического или научного изучения.

Смирнов Л. И.



ЗАМЕТКИ О КНИГАХ

*Юрій Іванович Венелін-Гуца (1802—1839): Бібліографічний показ-чик*¹. Ужгород, 1989, 91 с., порт., илл.

Юрій Іванович Венелін-Гуца (1802—1839): Библиографический указатель

Получить библиографическое представление о жизни и деятельности Юрия Ивановича Венелина — историка, филолога, этнографа, археографа, одного из основоположников болгаристики до последнего времени было довольно трудно: существовал ряд источников, в частности, книга Т. Байцуры, изданная в Братиславе в 1968 г. на украинском языке тиражом 800 экз., библиография М. Велевой, включающая 65 болгарских названий, пристатейная энциклопедическая библиография и т. п., но они далеки от полноты и совершенства.

Рецензируемое издание представляет собой подробнейшую библиографию (537 позиций) сочинений Ю. И. Венелина и литературы о нем на русском, украинском, болгарском, словацком, венгерском, польском, немецком, сербском и английском языках. Такое обилие языков дает право предположить, что работа Ужгородского университета будет иметь в каком-то смысле международное значение. Тираж издания всего 180 экз. Надеюсь на дополнительный тираж или второе издание, позволю себе несколько конкретных замечаний и пожеланий.

Во-первых, к сожалению, неверно определен жанр указателя: это биобиблиография, так как включает произведения Венелина и литературу о нем.

Во-вторых, не совсем верно, на мой взгляд, представлены основные работы ученого: о болгарях и о словенах. Составители не обнаружили еще одного издания книги Венелина о словенах 1846 г. По моему убеждению, в последующих изданиях следовало бы представить эти

работы таким образом: 1 — книга о болгарях 1829 г.; 2 — книга о словенах 1841 г., но с обязательным указанием, что она вышла с ошибочным титульным листом издания 1829 г., т. е. как книга о болгарях, и с указанием страниц — 241; 3 — книга о словенах с правильным титулом, но с ошибкой в годе издания: обозначен 1841 г., а предисловие и статья И. Молнара, помещенные в ней, датированы апрелем и июнем 1846 (!) года; да и количество страниц основного текста в этом издании не 241, а 326. (В этих библиографических загадках автор рецензии сам разбирался в Ленинской библиотеке); 4—2-е издание книги о болгарях вышло в 1856 г.

Рубрикатор содержания, на мой взгляд, излишне дробен: 19 разделов, не считая списка сокращений, именного указателя (очень полезен!), двух вступительных заметок. Не совсем оправдано выделение в отдельную группу позиций с литературой революционеров-демократов о Венелине, если учитывать, что специальные работ о нем они не оставили — кроме рецензии В. Г. Белинского и маленькой заметки Н. Г. Чернышевского. Такое же замечание относится и к рубрике «Венелин — медик»: обучение на медицинском факультете Московского университета было для слависта Венелина лишь фактом биографии и никакого (насколько можно судить по тем же материалам из рубрики) серьезного влияния на творчество ученого не оказало. Отраслевые рубрики — «Венелин — филолог», «Венелин как историк» и другие — казалось бы должны облегчить работу исследователей, однако в них включена только литература на русском и украинском языках, а иностранная составила еще две языковые рубрики, но уже без деления по темам. Вряд ли такое сме-

¹ Укладачі: О. Д. Закривидорога, М.-І. Г. Люта, Л. А. Мельник, Т. В. Туренко. Віпн. ред.: Я. І. Штернберг, Л. О. Мельник. Вступна стаття: І. М. Гранчак, М. І. Зимомря.

шение языкового и отраслевого принципов правомерно в персональной библиографии ученого. Совсем не использована в указателе система отсылок из одной рубрики в другую, а для Ю. И. Венелина это очень важно, так как во многих публикациях о нем рассказывается и как о болгаристе, и как о лингвисте, и как о фольклористе и историке...

Аннотации. Они малочисленны и слишком лаконичны. Такая информация недостаточна для исследователя. На мой взгляд, следовало бы пересмотреть работу и «ужесточить» отбор при повторном издании. Это же пожелание можно отнести и к тезисам последней конференции о Венелине, включенным в указатель, и к другим материалам, например, к моей статье и к моим тезисам (увы, Венелин там лишь упоминается). Но особенно нужно пересмотреть раздел со справочно-библиографическими изданиями, который чрезмерно насыщен материалами, к ученому весьма косвенно относящимися (см. № 494, 500—502, 506, 507, 510 и др.).

Неопубликованные работы Ю. И. Венелина упоминаются в специальной «архивной рубрике», где, к сожалению, лишь

перепечатаны соответствующие материалы из книги Т. Байцуры. Хотелось бы, чтобы архивные материалы были представлены «новыми» документами.

Думается, нужно было бы объединить в одном разделе все опубликованное из научного и эпистолярного наследия ученого. В настоящем издании этот принцип не осуществлен.

С большой тщательностью представлена местная краеведческая литература, что, безусловно, бесспорнейшее достоинство книги. Эту работу можно было осуществить только «на месте событий», т. е. на родине ученого, где (как видно из указателя), он не забыт.

В заключение хотелось бы высказать одно пожелание: было бы целесообразно при проведении подобных объемных и кропотливых ретроспективных работ использовать активно такие научно-информационные центры союзного значения, как ГБЛ, ИНИОН АН СССР, ГБИЛ, ВГИБ и другие.

В целом, болгаристы могут быть только благодарны за подготовку такого библиографического издания ужгородскими учеными.

Ишутин В. В.

G. NEWEKLOWSKY. Der kroatische Dialekt von Stinatz. Wörterbuch. — Wiener slawistischer Almanach, 25. Wien, 1989, 228 s.

Г. НЕВЕКЛОВСКИ. Хорватский говор села Стиняки. Словарь

Переселенческие хорватские говоры Градица (Burgenland), возникшие в результате миграции XVI в., давно привлекают внимание исследователей архаичными особенностями, сохранение которых обусловлено изолированным положением говоров в иноязычной среде (Нижняя Австрия, западная Венгрия, Словакия и южная Моравия). Г. Невекловски, на протяжении многих лет изучающий переселенческие говоры, посвятил Градищу, в частности, фундаментальное исследование [1]. Предлагаемое издание — Словарь хорватского говора села Стиняки, расположенного в южном Градище, — продолжает серию работ Г. Невекловского о говорах указанного региона. Материалом для словаря послужили собрания текстов, записанных в Стиняках в 1964 и 1965 гг. (см. [2; 3]: в словарь входят все лексемы, встречаю-

щиеся в текстах). Словник пополнялся и за счет некоторых других источников, ср., например, материалы Общеславянского лингвистического атласа. Словарь включает 3100 слов.

Особенность издания — тщательнейшая обработка и компактная презентация материала. Кроме основной части словарь содержит обратный индекс хорватских заглавных слов, список частотности слов, составленный на базе [2; 3], и индекс немецких эквивалентов, используемых при толковании заглавных хорватских лексем, т. е. немецко-хорватский словарь, что дает, например, возможность сопоставления синонимичных хорватских лексем.

Заглавные хорватские слова подаются в литературизованной форме, что облегчает пользование словарем, но с сохранением типичных диалектных черт, как,

например, икавский рефлекс *ě* (*dite*, *mliko*), выпадение *h* (*jati* < *jahati*, *ruška* < *hruška*). При заглавных словах приводятся ненормативные диалектные варианты и, далее, их важнейшие морфологические формы. Иллюстративный материал помещается в тех случаях, когда этого требует значение слова.

Словарной части издания предпослан краткий очерк грамматики и истории говора Стиняков (чему посвящен ряд других работ Г. Невекловского). Говор Стиняков имеет черты чакавского диалекта с икавским произношением и и относительно архаичной акцентуацией (место старого ударения в основном сохранено: *žepá*, как и долгота: *glâ:vá*). Здесь отмечается и ряд инноваций, в чем большую роль сыграла структура слога (ударные закрытые слоги всегда долгие). Фонетическая характеристика говора Стиняков определяется наличием назальных гласных: каждой гласной соответствует назальный вариант.

В грамматическом очерке особо выделены репрезентативные именные и глагольные морфологические и акцентуационные парадигмы. Указываются также специфические лексические черты хорватских говоров Градища, ср. *oganj* при отмечаемом в других говорах *vatra* 'огонь', *iskati* при *tražiti* 'искать'.

На основании прежде всего анализа лексики Г. Невекловски приходит к выводу о связи говора Стиняков с другими диалектами Градища, «прародина» ко-

торых могла находиться на территории между реками Купа — Сава — Уна. (см. также [1]). Диалект — предшественник современного говора Стиняков мог локализоваться по линии *ě*-изоглоссы, к северу от икавско-екавских и к югу от икавских говоров, вдоль верхнего течения реки Уна. Разумеется, в своих рассуждениях автор учитывает тот факт, что хорватские диалекты Градища происходят из области, где первоначальные диалектные отношения искажены миграциями, вызванными турецким завоеванием.

Таким образом, слависты-лексикологи располагают теперь еще одним диалектным словарем, и можно только пожелать, чтобы и другие работы подобного рода выполнялись на столь же высоком уровне.

Осипова М. А.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Neweklowsky G.* Die kroatischen Dialekte des Burgenlandes und der angrenzenden Gebiete. (Öst. Akademie der Wissenschaften. Schriften der Balkankommission, Linguistische Abteilung, XXV). Wien, 1978.
2. *Erzählgut der Kroaten aus Stinatz im südlichen Burgenland.* Kroatisch und deutsch / Hg. von K. Gaál und G. Neweklowsky, unter Mitarbeit von M. Grandits. — Wiener slawistischer Almanach, 10. Wien, 1983.
3. *Neweklowsky G., Gaál K.* Totenklage und Erzählkultur in Stinatz. — Wiener slawistischer Almanach, 19. Wien, 1987.



МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ИСТОРИКОВ В БЫДГОЩЕ

19—21 марта 1990 г. в польском городе Быдгоще состоялась традиционная международная конференция историков восточноевропейских стран. Ее темой стали события 1939 г. в Европе. В работе конференции приняли участие представители крупных научных центров Польши (ун-та им. А. Мицкевича в Познани, ун-та им. Н. Коперника в Торуня, Высшей педагогической школы в Быдгоще и др.), а также историки из Банска-Быстрицы (ЧСФР). В соответствии с договором о научном сотрудничестве между ВПШ (Быдгощ) и Горьковским государственным университетом им. Н. И. Лобачевского, в работе конференции участвовала делегация ГГУ во главе с деканом исторического факультета, д-ром ист. наук О. А. Колобовым.

Выступившие в ходе трехдневных секционных заседаний специалисты с разных сторон анализировали расстановку политических сил в мире накануне событий 1939 г. и этапы подготовки Германии ко второй мировой войне.

Декан исторического факультета ВПШ (Быдгощ) проф. С. Кубяк посвятил свой доклад генезису польской сентябрьской трагедии 1939 г. Проследив основные этапы межвоенной истории Польши, начиная с восстановления ее независимости в 1918 г., докладчик выделил альтернативы, стоявшие перед польскими лидерами при осуществлении внешней политики. Значительное место было уделено характеристике политического наследия Ю. Пилсудского. По мнению Кубяка, тактика балансирования Польши между двумя сильнейшими континентальными державами, СССР и Германией, была исторически закономерной и отражала усилия польской дипломатии по поиску возможных союзников на международной арене. Докладчик особо остановился на последствиях для Польши логичной, с его точки зрения, позиции Англии, Франции и США в конце 30-х годов, фактически оставивших Польшу один на один с Германией, а также на причинах нежелания польского правительства обеспечить

союзнические отношения с СССР.

Проф. В. Ястжембский, зав. кафедрой истории и обществоведения ВПШ (Быдгощ), в выступлении сделал акцент на последствиях ввода советских войск в Польшу 17 сентября 1939 г. и нахождения частей Красной Армии в Польше в 1944—1945 гг. Точка зрения В. Ястжембского отражает взгляды тех польских историков, которые рассматривают развитие событий конца 30-х годов — первой половины 40-х как противостояние двух идентичных тоталитарных систем, существовавших в Германии и СССР и использовавших в отношении третьих стран аналогичные методы политического насилия.

В докладе «События 1939 г. в Европе в восприятии правящих кругов США» О. А. Колобов остановился на расстановке сил в американских внешнеполитических верхах в связи с европейскими событиями, а также на особенностях той сложной игры, которую вела дипломатия США в 1938—1939 гг. в Европе. Советский историк на основе источников Национального архива США показал, что накануне второй мировой войны американским правительством не планировались и не предпринимались значимые шаги по организации отпора Германии, а многие представители внешнеполитического истеблишмента стремились создать весомые предпосылки к осуществлению прямой агрессии Германии против СССР. Колобов охарактеризовал также специфику взаимоотношений Рузвельта с «изоляционистами» и основные приоритеты геополитических расчетов его администрации в отношении Польши.

В дискуссии, развернувшейся в ходе работы конференции, затрагивались, в частности, вопросы об исторических судьбах польского населения, насильно депортированного на территорию СССР в предвоенный и военный периоды. В этой связи было решено усилиями историков ГГУ и ВПШ (Быдгощ) приступить к рабочей программе по исследованию биографий тех поляков, которые оказались

расселенными на территории нынешней Горьковской области.

Закрывая конференцию, ректор ВППШ (Быдгощ) проф. К. Новак сказал, что в истории XX в. вряд ли можно найти период, сравнимый по своей противоречивости со временем подготовки немецкого фашизма к мировой войне. Сейчас интерес историков к событиям 1939 г. резко усилился в связи с процессами,

происходящими в Восточной Европе, и объединением «двух Германий». Последнее, отметил Новак, в силу определенных исторических аналогий, порождает обеспокоенность политических и академических деятелей славянских государств.

Макарычев А. С.

ЗА КОМПЛЕКСНОЕ ИЗУЧЕНИЕ НАСЛЕДИЯ ЮРИЯ ВЕНЕЛИНА

В 1989 г. состоялись две конференции, посвященные 150-летию со дня смерти Ю. И. Гуцы-Венелина (1802—1839): 21—23 марта в Ужгородском университете (СССР)¹ и 5—6 сентября — в Софийском университете им. Климента Охридского (НРБ). Это свидетельствует о заметно возрастающем в последние годы интересе как советских, так и зарубежных (болгарских, чешских, словацких, польских, венгерских, немецких) ученых к личности видного отечественного слависта, его научному наследию, вкладу в процесс взаимодействия культур славянских народов.

Научную конференцию под названием «Наследие Юрия Ивановича Венелина» организовал на базе столичного университета Центр болгаристики Академии наук Болгарии. На двух ее заседаниях были заслушаны и обсуждены 11 докладов. Со вступительным словом о жизни и творческом пути Ю. Венелина с учетом общих тенденций и закономерностей культурных связей русского, украинского и болгарского народов выступил д-р филол. наук, проф. Д. Леков, известный исследователь, автор фундаментальных трудов по болгарской истории и литературе периода национального возрождения, обратив внимание на многомерность процесса традиционных взаимосвязей восточных и южных славян. Ведь далеко не случайно, что первое поколение виднейших деятелей болгарской культуры (Л. Каравелов, Н. Геров, Д. Чинтулов, Х. Ботев, И. Вазов и др.) в той или иной мере формировалось, например, на Украине.

С приветствием к участникам конференции выступил директор Института

литературы БАН, д-р филол. наук, проф. Б. Ничев, поддержавший давно назревшую идею издать в Болгарии избранные труды Ю. Венелина и его научную биографию.

Обстоятельный доклад посвятил освещению вклада Ю. Венелина в болгаристику с учетом европейской славистической науки первой половины XIX в. д-р филол. наук, проф. И. Конев, убедительно доказавший, что появление книги «Древние и нынешние болгары в политическом, народописном и религиозном их отношении к россиянам» (1829) имело исключительно большое значение для развития болгарской культуры. Речь идет о тех ориентирах, которые способствовали пробуждению у деятелей эпохи национального возрождения (В. Априлов, Р. Жинзифов, В. Палаузов, Неофит Рильский, В. Друмев, Л. Каравелов и др.) интереса к национальной истории Болгарии. Таким образом, Ю. Венелин стоял у истоков деятельности по возрождению болгарского народа, становлению его национального самосознания.

Это утверждение углубил в своем содержательном докладе Д. Леков, подчеркнув, что труды Ю. Венелина активно содействовали возврату болгарской духовной жизни к славянской традиции. Как И. Конев, так и Д. Леков коснулись вопроса о вдохновляющем воздействии сочинений Ю. Венелина, его личности на разные слои болгарской общественности в период национального возрождения.

Канд. филол. наук С. Жарев попытался рассмотреть роль Ю. Венелина в формировании концептуальных задач болгарской филологической науки. В этом плане особенно привлек внимание участников форума хорошо продуманный доклад

¹ Информация об этой конференции опубликована в № 2 нашего журнала за этот год. — *Прим. ред.*

канд. филол. наук Е. Георгиевой, посвященный анализу критических откликов на изыскания Ю. Венелина, касающихся определения их места в истории болгарской словесности. Логическим дополнением данной проблематики представляется доклад канд. филол. наук В. Мурдарова «Ватрослав Ягич и Юрий Венелин»; к сожалению, докладчик ограничился общими размышлениями Ягича о вкладе Ю. Венелина в болгарское языкознание без надлежащего целостного анализа.

Заслуживают внимания доклады канд. ист. наук Н. Дановой («Греческий перевод книги Юрия Венелина „Древните и сегашни българи“») и канд. ист. наук Х. Йонкова («Литографические портреты Юрия Ивановича Венелина»), основанные на интересных примерах и наблюдениях.

В работе конференции приняли активное участие советские ученые, представляющие ряд академических институтов и вузов нашей страны. Д-р филол. наук Н. С. Шумада (Киев) осветила ценность фольклористической деятельности Ю. Венелина, увязав ее с этапом начального изучения песенного богатства болгар, у истоков которого стоял автор труда «О характере народных песен у славян задунайских» (1835). Д-р филол. наук Е. И. Демина (Москва) всесторонне осветила сложный вопрос о нормализации правописания болгарского литературного языка эпохи национального возрождения в представлении Ю. Венелина, подчеркнув тот неоспоримый факт, что автор «Грамматики нынешнего болгарского наречия» (1834) разработал поистине ори-

гинальное решение одной из наиболее важных в 30-х годах XIX в. проблем — проблемы орфографии. Таким образом, названный труд Венелина (к сожалению, до сих пор не опубликованный) являлся в 30-е годы значительным шагом вперед по сравнению даже с «Болгарской грамматикой» (1835) Неофита Рильского.

Важных моментов коснулась в обстоятельном докладе «Ю. И. Венелин и некоторые вопросы болгарской литературы XIX в.» канд. филол. наук М. И. Чемоданова (Москва), отметив наиболее характерные взгляды Ю. Венелина на художественные достижения болгарской литературы конца XVIII — начала XIX в. Д-р филол. наук Н. И. Зимомря (Ужгород) в своем докладе «О восприятии наследия Ю. И. Гуцы-Венелина в немецкой печати (30—40-е годы XIX в.)» сделал попытку провести сравнительный анализ рецепции научного наследия Ю. Венелина в странах Западной Европы, в частности, в Германии.

Участники дискуссии, а среди них был и Генеральный директор Центра болгаристики БАН д-р филол. наук, проф. С. Радев, отметили большое познавательное значение прочитанных на сессии докладов и высказались за их публикацию отдельным сборником. Предполагается, что он увидит свет в издательстве БАН под названием «Юрий Венелин и болгарское Возрождение». Подобное издание представляется, вне сомнения, важной вехой на пути к комплексному изучению всего наследия Юрия Венелина — одного из пионеров отечественной славистической науки.

Зимомря Н. И.

КОНФЕРЕНЦИЯ ИЗ ЦИКЛА «СЛАВЯНЕ И ИХ СОСЕДИ»

В марте 1990 г. в Москве Институт славяноведения и балканистики АН СССР провел очередную конференцию по теме — «Этно-психологический стереотип в средние века». Она имела не только научную, но и общественно-политическую актуальность, вызванную обострением ныне межнациональных отношений в нашей стране и в мире в целом. Основной задачей конференции было выявление закономерностей формирования и функционирования образа одного народа в восприятии другого. Открывший конференцию чл.-корр. АН СССР

Г. Г. Литаврин (Москва) обратил особое внимание на важность изучения этой проблемы, что позволяет в период межнациональных конфликтов, который мы сейчас переживаем, дать научный анализ генезиса этих конфликтов не только на политическом, но и на этно-психологическом уровне, проследить, как сформировавшиеся стереотипы восприятия в свою очередь воздействуют на процесс общения народов между собой.

Много докладов было посвящено южным славянам и Византии. В докладе «Славяне между Болгарией и Византией

в 60-х годах VIII в.» Г. Г. Литаврин дал анализ славяно-протоболгарского конфликта в условиях вмешательства Византии, подчеркнув взаимообусловленность этнических и политических факторов. С. А. Иванов (Москва) рассмотрел особенности восприятия византийских реалий древнеболгарским переводчиком сочинения Псевдо-Георгия Александрийского, показав, что филологический анализ перевода может дать интересный материал для освещения проблемы понимания одного народа другим. О. В. Иванова (Москва) отметила особенности описания болгар в сочинениях Феофилакта Охридского. Д. И. Польшвинный (Иваново) проследил сложные переплетения идей болгарского суверенитета, этно-политической самобытности болгар и ойкуменических элементов в идеологии Второго Болгарского царства. А. А. Турилов (Москва) на примере сюжета о взятии Сереса Стефаном Душаном показал функционирование отрицательного этнического стереотипа греков и нейтрального — западных европейцев в сербской среде на Афоне. И. П. Медведев (Ленинград) дал анализ оценки патриархом Филофеем Коккином русских как «святого народа», в основе которой лежал политический прагматизм — сохранение Русью в XIV в. верности византийской церковной организации. Н. Д. Барабанов (Волгоград) рассмотрел стереотипы религиозного сознания и поведения полиэтничного византийского монашества. Е. М. Ломизе (Москва) показал зависимость двух типов византийского патриотизма XV в. от политико-идеологической ориентации их носителей. Эволюция автостереотипа болгар, усложнение его структуры в условиях османского владычества были прослежены И. Ф. Макаровой (Москва).

Значительное внимание на конференции было уделено восточным славянам, Руси и их соседям. А. И. Рогов (Москва) показал стереотип и пути формирования образа идеального правителя в ранней гимнографии восточных и южных славян. Н. Ф. Котляр (Киев) определил как одну из основных черт этно-социальной психологии феодального класса Киевской Руси стремление монополизировать право владения «отчиной». Е. М. Верещагин (Москва) дал подробный анализ образа волжских болгар в древнерусской книжности в свете межконфессиональных отношений. И. О. Князький (Коломна) остановился на причинах консервации у восточных славян в XVI—XVII вв. архаичного для того времени термина

«волохи». А. Б. Головки (Киев) охарактеризовал представления древнерусских мыслителей о византийском типе государственности как идеальной идеологической ценности. А. Л. Хорошкевич (Москва) на основе анализа символов русской государственности XVI в. (двуглавый орел и единорог) пришла к выводу, что этно-политическими идеалами Руси были Римская и Византийская империи.

Е. А. Мельникова и В. Я. Петрухин (Москва) провели сравнительный анализ образа викинга в представлениях народов Западной и Восточной Европы; на Западе был распространен образ викинга — грабителя, тогда как на Востоке — война на службе у князей. И. П. Шаскольский (Ленинград) осветил сложные проблемы взаимных этнических представлений русских, карел и населения Финляндии в XV—XVII вв. и факторы, их обусловившие. Этно-психологический стереотип русских в восприятии шведов исследовал Г. М. Коваленко (Новгород), подчеркнувший, что негативные черты русских (высокомерие, лживость, сексуальная развращенность, обжорство и пьянство), по мнению шведов, были следствием отсутствия в России свободы, рабского состояния ее народа, изолированного от остального мира. Ю. А. Исиченко (Харьков) вскрыл этнические, конфессиональные и политические причины формирования в целом негативного образа России в украинской публицистике эпохи барокко. В. Н. Топоров (Москва) на примере русско-литовских контактов, что приобрело неожиданную актуальность, проследил роль образа «соседа» в становлении этнического самосознания, показывая, что хотя общечеловеческое важнее национального, самый органичный путь к нему идет именно через этнически индивидуальное и различное. Русско-литовские отношения дают урок не востребованных возможностей, и в этом взаимном долге первый шаг должна сделать именно Россия.

Серия докладов была посвящена западным славянам и их соседям. На особенностях этнического самосознания славян Полабья, вариативности этнических процессов в регионе остановилась С. Э. Бокариус (Ленинград); В. К. Ронин (Москва) обратил внимание на представления об этой группе славян в немецких письменных памятниках XIV—XV вв. В. П. Шушарин (Москва) охарактеризовал социальные и этнические стереотипы в сочинении Венгерского Анонима, показав, что вымышленные Анонимом общности и

их черты, хотя и не соответствовали реалиям X в., явились средством обоснования внутренней и внешней политики венгерских королей в XIII в. Б. Н. Флоря (Москва) обрисовал место Руси и русских в исторической концепции польского хрониста Яна Длугоша. Анализ национального характера поляков в сочинениях М. Кромера дала М. В. Лоскутова (Ленинград). Е. Н. Муравьева (Ленинград) рассмотрела аналогичный круг проблем на примере творчества Я.-Х. Пассека. Г. П. Мельников (Москва) обратил внимание на ранее мало изученные в советской историографии проблемы еврейского населения чешского средневекового города, охарактеризовав гетто в системе феодального города как неотъемлемую, хотя лишь терпимую его часть, показал конфессиональные, этнические и экономические причины антисемитизма, его обострения в периоды социальной нестабильности, его ослабление в период политико-конфессионального плюрализма и толерантности в конце XVI в. А. В. Рандин (Йошкар-Ола) раскрыл взаимодействие этнических факторов с конфессиональными, политическими и социальными аспектами гуситского движения, подчеркнув преобладание чувства этнической общности у конфессионально расколотого чешского дворянства, что при-

вело к его консолидации на заключительном этапе гуситских войн (битва у Липан). М. А. Глазкова (Москва) дала характеристику восприятия османов в чешской исторической литературе и публицистике XVI в.

Ю. Е. Ивонин (Запорожье) проследил эволюцию конфессиональной политики Австрии и Пруссии в XVI—XVIII вв., как путь от подавления инаковерующих к толерантности. М. М. Фрейденберг (Калинин) рассказал об итогах конференции, организованной Калининским университетом, по изучению этно-психологических стереотипов Нового времени, обратив особое внимание на теоретические аспекты: меру истинности стереотипа и его устойчивость.

Проблемы этнических стереотипов вызвали оживленную дискуссию. В частности, обсуждался механизм их формирования, проблемы однотипности или различия этнических стереотипов у разных социальных групп, причины быстрой смены или длительной устойчивости таких стереотипов.

Часть материалов конференции вошла в сборник «Славяне и их соседи. Этно-психологические стереотипы в средние века» (М., 1990).

Мельников Г. П.

КНИЖНАЯ ПОЛКА СЛАВИСТА

Оцхели В. И. Творчество М. Горького и польская литература, 1890—1918 гг. (Восприятие. Влияние. Типология). Автореф. дис. на соискание уч. степени д-ра филол. наук. М., 1990, 34 с.

Пашаева Н. М. Проблемное изучение славянского национального возрождения: Кн. как ист. источник. Учеб.-метод. пособие для студентов ист. фак. гос. ун-тов, 1989.

Пековић С. Књижевно дело Велька Милићевића. Београд, 1989, 178 с.

Плотникова О. С. Словенский язык. М., 1990, 198 с., табл. Библиогр.

Потебня А. А. Теоретическая поэтика. М., 1990. 344 с.

Связи России с народами Балканского полуострова (первая половина XVII в.). / Заборовский Л. В., Захарьина Н. С., Наумов Е. П. и др. М., 1990, 272 с. Библиогр.

София през вековете: Изследвания в 3 т. София, 1989. Т. I. Древност, средновековие, Възраждане. / Съст.: Георгиев Г., Матеев Б. 233 с.

Традиции в современном обществе: Исслед. этнокульт. процессов. М., 1990, 247 с. Библиогр.

Широков О. С. Введение в балканскую филологию. М., 1990, 191 с., табл.

Юската буржоазнадемократична революция в Албания, 1924 г. София, 1989, 191 с.

**УКАЗАТЕЛЬ СТАТЕЙ И МАТЕРИАЛОВ,
ОПУБЛИКОВАННЫХ В ЖУРНАЛЕ В 1990 ГОДУ**

СТАТЬИ

Б а с т л о в а З. (ЧСФР). К проблематике межславянских литературных связей рубежа веков	№ 6
В а й с к о ф М и х а и л. (Израиль). Гоголь и Скворода: проблема «внешнего человека».	№ 4
В о л к о в В. К. Советско-югославские отношения в начальный период второй мировой войны в контексте мировых событий (1939—1941 гг.)	№ 6
Г и н д и н Л. А. Обряд погребения Аттилы (Iord. XLIX 256—258) и «тризна» Ольги по Игорю (ПВЛ, 6453 г.)	№ 2
Г и п п и у с А. А. Из истории взаимодействия региональных изводов церковнославянского в древнейшую эпоху (формы номинатива действительных причастий на — * <i>onts</i>)	№ 1
Г у д а к о в В. В. Дипломатическая деятельность Иво Андрича весной 1941 г. и судьба югославского представительства в нацистской Германии	№ 1
Д а н ч е н к о С. И. Русская журналистика о Сербии и русско-сербских отношениях (1885—1903)	№ 2
Д е л ь А г а т а Д ж у з е п п е. (Италия). Русский перевод «Царства Славян» Мауро Орбини	№ 5
Д ь я к о в В. А. О значении марксизма для исторической науки	№ 4
К о р о в и ц ы н а Н. В. История культуры ЧССР в послевоенном чехословацком обществоведении: подходы, результаты, проблемы	№ 1
К о с и к В. И. Русская дипломатия и генералы в Болгарском княжестве. 1881—1883 годы	№ 6
Л а б ы н ц е в Ю. Зерцало жития	№ 5
Л и п а т о в А. В. «Русский» Крашевский. (Польско-русские литературно-типологические параллели)	№ 4
Л и ф а н о в К. В. «Национальные песни» Я. Коллара как источник изучения среднесловацкого фольклорно-поэтического койне	№ 5
М а к а р о в а И. Ф. Этническая проблематика в произведениях болгарского патриарха Евфимия	№ 1
М а р о в и ч Р. (СФРЮ). Между Вуком и Пушкиным — переложения сербских народных песен А. Х. Востокова	№ 1
М е л ь н и к о в Г. П. Формирование нового патрициата в Праге (вторая половина XV — первая половина XVI в.)	№ 1
Н е в с к а я Т. В. Заметки по этимологии нескольких русских арготизмов	№ 5
Н и к о л а е в С. Л. К истории племенного диалекта кривичей	№ 4
Н и к о л а е в а Е. К. Польские устойчивые сравнения с мифологическим компонентом	№ 2
Н о в о п а ш и н Ю. С. Реальный социализм и самоопределение наций	№ 2
О р е л В. Э. Этимологические заметки по восточнославянской лексике	№ 3
П а р с а д а н о в а В. С. К истории интернированных в СССР солдат и офицеров Войска Польского	№ 5
П о п о в с к а - Г а б о р с к а Х. (ПНР). Хронология общеславянских фонетических изменений в контексте ранней истории славян	№ 1
Р у с а н о в с к и й В. М. Функции языка и задачи социолингвистики	№ 2
С е л и ц к и й Ф р а н т и ш е к. (ПР). Франциск Скорина в польской науке	№ 5
С е м и р я г а М. И. 17 сентября 1939 года	№ 5
С о ф р о н о в а Л. А. Еще раз о проблемах истории культуры	№ 2
С т ы к а л и н А. С. Борьба за демократизацию школьной системы Венгрии в период народно-демократической революции	№ 2
С у р т а Х. Ф. О «балто-славянской» новелле П. Мериме «Lokis».	№ 6
Т а р а с о в О. Ю. Русские иконы XVIII — начала XX в. на Балканах	№ 3
Т и т о в а Л. Русско-чешские художественные связи конца XVIII — первой половины XIX в. (Музыка, театр, изобразительное искусство)	№ 1
Т и х о м и р о в а В. Я. Тадеуш Ружевиц и советская культура	№ 4
Ф е р т а ч С и л ь в е с т р. (ПР). Движение славянской солидарности и польская эмиграция в Великобритании во время второй мировой войны	№ 6

Флоря Б. Н. Русско-османские отношения и дипломатическая подготовка Смоленской войны	№ 1
Чуркина И. В. Вук Стефанович Караджич и Михаил Федорович Раевский	№ 2
Яковлев А. В. Некоторые вопросы новогреческого консонантизма	№ 4

ДИСКУССИИ

Браунталь Ю. (Австрия). Антиавторитарные движения в Центральной Европе, 50—60-е годы	№ 3
Революционные изменения в странах Центральной и Юго-Восточной Европы. Год 1989	№ 3
СССР — Югославия. 1948 год в современном прочтении	№ 4

ИЗ ИСТОРИИ СЛАВЯНОВЕДЕНИЯ

Аксенова Е. П. «Изгнанное из стен Академии» (Н. С. Державин и академическое славяноведение)	№ 5
Горяинов А. Н. Славяноведы — жертвы репрессий 1920—1940-х годов: некоторые неизвестные страницы из истории советской науки	№ 2
Ненашева З. С., Хайретдинов Х. Х. К пятидесятилетию кафедры истории южных и западных славян исторического факультета МГУ (Формирование концепции научной и учебной работы)	№ 2

ПОРТРЕТЫ

Искрин М. Г. Петербургский библиограф В. Г. Анастасевич	№ 4
Топоров В. Н. Николай Сергеевич Трубецкой — ученый, мыслитель, человек (к столетию со дня рождения)	№ 6

ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

Великодная И. Польское четверостишие П. А. Вяземского	№ 6
Кузьмин М. Н. Словацкий комениолог Ян Родомил Квачала — профессор Юрьевского университета	№ 4
Матко П. М. О Ярославле Гашеке и Кареле Ванеке	№ 2
Станюкевич Я. В. Памяти Марии Домбровской	№ 6

СООБЩЕНИЯ

Богачева Н. А., Новопашина Ю. С. Западные политологи о развитии социалистического содружества	№ 4
Булатова Р., Чагаева Е. Периодическое издание белградских археографов из Народной библиотеки Сербии	№ 2
Заборовский Л. В., Захарьина Н. С. Двадцать лет работы сектора истории средних веков Института славяноведения и балканистики АН СССР	№ 5
Задорожнюк Э. Г. Взгляд на Чехословакию, 1988 — ноябрь 1989 гг. (по материалам контент-анализа публикаций журнала «Time»)	№ 3
Ивинский П. И. Польско-восточнославянские литературные связи	№ 4
Илюшин А. А. С польского на славяно-русский (к проблеме перевода «Carpinium variogum» Симеона Полоцкого)	№ 1
Кабачкова Г. И. Новые исследования по семейной обрядности балканских народов	№ 1
Латыш М. В. Парламентское заявление 30 мая 1917 г. и чешская политика	№ 4
Немировский Е. Л. Острожская Библия в монастырских библиотеках Черногории и Сербии	№ 1
Нещименко Г. П. О ходе многостороннего международного сотрудничества по сопоставительному изучению славянских языков	№ 1
Николаева Т. М. Славистика современных Нидерландов	№ 6
Фрейденберг М. М. Мюнхенский центр балканистических исследований	№ 6

ОБЗОРЫ И РЕЦЕНЗИИ

Агапкина Т. П. С. Ф. Мусиенко. Творчество Зофьи Налковской	№ 4
Бушueva Т. С. М. Bulajić. Ustaški zločini genocida i sudenje Andriji Artukoviću 1986 godine. Т. I—II	№ 6
Валева Е. Francis Conte. Les Slaves. Aux origines des civilisations d'Europe centrale et orientale (XI ^e —XIII ^e siècles)	№ 5
Василенко В. Н. Wyka K. Syprian Norwid: studia, artykuły, recenzje	№ 3
Греков И. Б. Е. В. Чистякова. Михаил Николаевич Тихомиров (1893—1965)	№ 6
Два мнения об одной книге (Краткая история Чехословакии. С древнейших времен до наших дней)	№ 3
Два мнения об одной книге (Славяноведение в дореволюционной России)	№ 4
Дуличенко А. Д. В. Tošović. Ruska gramatika u poređenju sa srpskohrvatskom. Glasovi. Oblici. Rečenica	№ 3

Е в г е н ь и н И. Е. G. X. Skilling. Samizdat and independent society in Central and Eastern Europe	№ 4
Е д е м с к и й А. Б. Политические уроки одного конфликта	№ 2
Ж у к о в А. В. М. Ф. Алефиренко. Теоретичні питання фразеології	№ 2
З а г р а д к а М. (ЧСФР). Новая книга о литературе Чехословакии	№ 5
К а в к о А. К. Франциск Скорина — белорусский гуманист-просветитель, первопечатник	№ 5
К и р и л о в а О. Международная конференция «Социальная действительность и литература» (Материалы)	№ 1
К и р ш е в с к а я А. Н. Обманутые ожидания	№ 2
К о с т я ш о в Ю. В. Хрестоматия по истории южных и западных славян. Учебное пособие для вузов в трех томах. Т. I. Эпоха феодализма	№ 1
М о к и е н к о В. М. В. Кювлиева-Мишайкова. Устойчивые сравнения в болгарския език	№ 1
М ы л ь н и к о в А. С. Этнические процессы в Центральной и Юго-Восточной Европе	№ 5
Н и к о л ь с к и й С. В. Slavisticky odkaz F. L. Celakovského (Práce z dějin slavistiky, XI)	№ 5
О р е л В. Э. В. Чекмонас. Введение в славянскую филологию	№ 4
О р е л В. Э. Этимологічний словник української мови	№ 5
П у ц к о В. Г. С. Петковић. Морача	№ 5
С а н н и к о в а О. В. L. Peška. Polska demonologia ludowa	№ 2
С м и р н о в Л. Н. Krátky slovník slovenského jazyka	№ 6
С т е п а н о в а Е. Поетика српске књижевности	№ 6
С т и ж к о Л. В., Хайров Ш. В. E. Lotko. Čeština a polština v překladatelské a tlumočnické praxi	№ 6
Ф и р с о в Е. Ф. O. Novak. Henleinovci proti Československa. Z historie sudetoněmeckého fašismu v letech 1933—1938	№ 4
Ч е р т о р и ц к а я Т. В. Ценнейшее издание в области славистики	№ 4
Ш а ф е р о в а Л. Р. Нук. Србија и Венеција у XIII и XIV веку	№ 3

ЗАМЕТКИ О КНИГАХ

И ш у т и н В. В. Юрій Іванович Венелін-Гуца (1802—1839): Бібліографічний показник	№ 6
Л а б ы н ц е в Ю. А. P. Kennedy Grimsted. Archives and Manuscript Repositories in the USSR: Ukraine and Moldavia. Book 1. General Bibliography and Institutional Directory	№ 1
М у р т у з а л и е в С. И. С. Станимиров. Политическата дейност на българите католици през 30-те и 70-те години на XVII век. Към историята на българската антиосманска съпротива	№ 3
Н а у м о в Е. П. Илири и Албанци. Серија предавања одржаних од 21. моја до 4. јуна 1986. године	№ 1
Н а у м о в Е. П. Споменици за средновековната и поновата историја на Македонија, т. V	№ 3
Н е м и р о в с к и й Е. Л. Б. Маринковић. Библиографија о нашем ћириличком штампарству, штампаријама и књигама XV, XVI и XVII столећа. Прва књига. «Мних Макарије от Чрније Гори» (XV—XVI)	№ 2
О с и п о в а М. А. Slovene Studies	№ 3
О с и п о в а М. А. G. Neweklowsky. Der kroatische Dialekt von Stinatz. Wörterbuch	№ 6
С м и р н о в Л. L. Dvonč. Slovenski jazykovedci. Súborná personálna bibliografia slovenských slovakistov a slavistov (1925—1975)	№ 4
Ф р е й д е н б е р г М. М. Медиевистика на страницах «Трудов» философско-факультета в Задаре	№ 2
Ф р е й д е н б е р г М. М. Новые публикации далматинских городских статутот Черторицкая Т. V. Codices selecti Faksimile Editionen I—LXXXVII. Katalog	№ 4

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

А н а н ь е в а Н. Е. О Международной конференции по смешанным и переходным диалектам на славянских территориях	№ 2
Г а в р у ш и н а Л. Международная конференция «Литературные связи и литературный процесс» (методологические и сравнительно-исторические аспекты)	№ 2
Г о л ь ц е к е р Ю. II Конгресс культуры польского языка	№ 1
Г р а н ч а к И., З и м о м р я Н. Памяти Ю. И. Венелина-Гуцы	№ 2
Е. Н. 600-летие Косовской битвы	№ 2
Е р м а к о в а М. И. Третий международный семинар по сорабистике	№ 2
З и м о м р я Н. И. За комплексное изучение наследия Юрия Венелина	№ 6
К а в к о А. К. «Круглый стол», посвященный энциклопедии «Франциск Скорина и его время»	№ 5
К о в т у н Е. Конференция к 100-летию Карела Чапека	№ 4
М а к а р ы ч е в А. С. Международная конференция историков в Быдгоще	№ 6

М е д у ш е в с к и й А. Н. Советско-польская конференция «Славянский мир и Римская империя»	№ 4
М е л ь н и к о в Г. П. Конференция, посвященная международным отношениям славян и их соседей в эпоху феодализма	№ 1
М е л ь н и к о в Г. П. Конференция из цикла «Славяне и их соседи».	№ 6
М о л о ш н а я Т. Н. Советско-польская конференция «Синхронно-сопоставительное изучение грамматического строя славянских языков»	№ 3
П р о к о ф ь е в а Д. С. Международная конференция «Вторая мировая война в польской и мировой литературе»	№ 1
С о ф р о н о в а Л. Диалог двух культур	№ 2
Т а р а с о в О. Конференция «История культуры и поэтика»	№ 3
Ф и р с о в Е. Ф. VI съезд чехословацких историков	№ 2
Х а й р о в Ш. В. Конференция «Синхронное сопоставление славянских языков»	№ 1

НЕКРОЛОГИ

Р о г о в А. И. Е. П. Наумов	№ 3
--	-----

CONTENTS

<p><i>Volkov V. K.</i> Soviet-Yougoslav relations at the beginning of the 2nd World War and the international processes of 1939—1941. <i>Kosik V. I.</i> Russian diplomacy and generals in the Bulgarian principality. 1881—1883. <i>Fertach Silvestr.</i> (Poland). The Slavic solidarity movement and the Polish emigration in Great Britain during the 2nd World War. <i>Bastlova Z.</i> (CSFR). Towards the problem of inter-Slavic literary relations in the beginning of the 20th century. <i>Surta Chr. F.</i> On the Mérimé's «Balto-Slavic» story «Lokis»</p>	3
--	---

PORTRAITS

<p><i>Toporov V. N.</i> Nikolaj Sergeevich Trubetskoy, scholar, thinker, personality (in commemoration of his 100th anniversary)</p>	51
--	----

PEOPLES, EVENTS, FACTS

<p><i>Staniukovich Ya. V.</i> In commemoration of Maria Dombrowska. <i>Velikodnaya I.</i> A Polish quatrain by P. A. Vyazemski</p>	85
--	----

COMMUNICATIONS

<p><i>Nikolaeva T. M.</i> Slavic studies in the Netherlands today. <i>Frejdenberg M. M.</i> Centre of Balkan studies in Munich</p>	90
--	----

REVIEW, ARTICLES AND REVIEWS

<p><i>Grekov I. B.</i> Е. В. Чистякова. Михаил Николаевич Тихомиров (1893—1965). <i>Bushueva T. S. M.</i> Bulajić. Ustaški zločini genocida i suđenje Andriji Artukoviću 1986 godine. Т. I—II. <i>Stepanova E.</i> Поетика српске књижевности. <i>Stizhko L. V., Khayrov Sh. V. E.</i> Lotko. Čeština a polština v překladatelské a tlumočnické praxi. <i>Smirnov L. N.</i> Krátky slovník slovenského jazyka</p>	105
---	-----

NOTES OF BOOKS

<p><i>Ishutin V. V.</i> Юрий Иванович Венелин-Гуца (1802—1839): Библиографічний показчик. <i>Osipova M. A. G.</i> Newekłowsky. Der kroatische Dialekt von Stinatz. Wörterbuch</p>	116
---	-----

SCIENTIFIC LIFE

<p><i>Makarychev A. S.</i> The international conference of historians in Bydgoszcz. <i>Zimomrya N. I.</i> Towards the complex studies of Yuri Venelin's heritage. <i>Mel'nikov G. P.</i> Conference on Slavs and their neighbours. Index of articles published in 1990</p>	119
--	-----

Технический редактор *Е. В. Синицына*

Сдано в набор 10.08.90	Подписано к печати 28.09.90	Формат бумаги 70×108 ^{1/16}
Высокая печать	Усл. печ. л. 11,2	Усл. кр.-отт. 15,0 тыс.
Тираж 1297 экз.	Уч.-изд. л. 12,6	Бум. л. 4,0
	Зак. 340	Цена 1 р. 20 к.

Адрес редакции: 121069, Москва Г-69, Трубниковский пер., д. 30а. Тел. 290-27-40
2-я типография издательства «Наука», 121099, Москва, Г-99, Шубинский пер., 6

Г 19

ВОЛХОНКА 18/2

ИН-Т РУССК ЯЗ АН СССР В-КА

70891

0

Индекс 70891

1 p. 20 к.